

БИБЛИОТЕКА

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 37

1987



Юрий ТРИФОНОВ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

ЯДРО ПРАВДЫ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 37

Юрий ТРИФОНОВ

ЯДРО ПРАВДЫ

СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, ЭССЕ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1987

Юрий ТРИФОНОВ

Юрий Валентинович Трифонов (1925—1981) — выдающийся советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР. Родился в Москве 28 августа 1925 г. Трудовую деятельность начал рабочим сначала в Ташкенте, где находился в эвакуации, а с конца 1942 г. на одном из заводов в Москве. Работал слесарем, волоочильщиком, диспетчером, технологом цеха, редактором заводской многотиражной газеты. В 1944 г. поступил в Литературный институт им. А. М. Горького, с 1951 г. — член Союза писателей СССР.

Автор более 70 книг, куда вошли романы «Студенты», «Утоление жажды», «Нетерпение», «Старик», «Время и место», «Исчезновение», повести «Отблеск костра», «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Дом на набережной», рассказы, спортивные очерки, статьи, репортажи. Автор сценариев художественных фильмов «Хоккеисты», «Утоление жажды», «О чем не узнают трибуны». На сцене театра на Таганке идут спектакли по повестям «Обмен», «Дом на набережной».

Произведения Ю. В. Трифопова переводились на языки народов СССР, выходили многотысячными тиражами во всех странах Восточной и Западной Европы, США, Китае, Японии, Австралии.

Публикация О. Р. Трифоновой-Мирошниченко

О СОВРЕМЕННОМ ГЕРОЕ

Слово «герой» в применении к литературному или театральному персонажу, хотя оно привычно и знакомо со школьных лет, обладает скрытым коварством. Оно вводит в заблуждение. То, что принадлежит герою, есть героическое! А это совсем необязательно. Еще Лермонтов иронизировал, используя двойной смысл слова «герой». Поэтому лучше просто: человек. Не будет упреков, недоумений, претензий.

Человек сегодняшнего дня, о котором мне интересно читать, слушать со сцены и писать, это человек, понимающий на двадцать лет больше современника целины, на сорок лет больше человека тридцать седьмого года, на шестьдесят лет больше того юноши, который ходил по улицам Питера со знаменем «Вся власть Советам!» Время — это груз понимания. Возраст дерева определяется годовыми кольцами, возраст человека — и человечества — определяется кольцами опыта, кольцами понимания.

Пустых людей, живущих биологической жизнью, к сожалению, много, они составляют большинство, им нет дела до опыта, до пережитого и до грядущего — они живут сегодняшним днем — и по сути не отличаются от людей, живших биологической жизнью сто лет назад. Искусству они мало чем интересны. Впрочем, как повод для обличения, укора, улыбки и сострадания!

1977

«ДОБРО, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, ТАЛАНТ»

Когда задумываешься над понятием «всесторонне развитая личность», в сознании возникают не идеи, не исполненные совершенства фигуры, а просто живые люди. Из тех, что встречались в жизни. Я ими восхищался. Некоторыми восхищаюсь до сих пор. Тщетно пытался на них походить, но неизменно чего-то недоставало — чего? Может быть, особого дара? Каких-то неуловимых, а может быть, самых главных человеческих качеств?

В детстве меня поразил один мальчик. Он был как раз такой удивительно «всесторонне развитой личностью». Лева Федотов. Несколько раз я поминал его то в газетной заметке, то в рассказе или повести, ибо Лева покорила воображение навеки. Он был так непохож на всех! С мальчишеских лет он бурно и страстно развивал свою личность во все стороны, он поспешно поглощал все науки, все искусства, все книги, всю музыку, весь мир, точно боялся опоздать куда-то. В двенадцатилетнем возрасте он жил с ощущением, будто времени у него очень мало, а успеть надо невероятно много.

Времени было мало. Но ведь он не знал об этом.

Он увлекался многими науками, в особенности минералогией, палеонтологией, океанографией, прекрасно рисовал, его акварели были на выставке, печатались в журнале «Пионер», он был влюблен в симфоническую музыку, писал романы в толстых общих тетрадах в коленкорových переплетах. Я пристрастился к этому нудному делу — писанию романов — благодаря Лева. Кроме того, он закалялся физически — зимой ходил без пальто, в коротких штанах, владел приемами джиу-джитсу и, несмотря на врожденные недостатки — близорукость, некоторую глухоту и плоскостопие, — готовил себя к далеким путешествиям и географическим открытиям. Девочки его побаивались. Мальчики смотрели на него, как на чудо, и называли нежно: Федотик. Так вот: Лева был первой всесторонне развитой личностью, с кем я встречался в жизни. Его убили на войне в 1942 году. Трудно сказать, кем бы стал этот редко одаренный человек — мог бы стать тем, и тем, и этим. Детство Левы было тяжелым: он жил вдвоем с мамой, его отец, командир Красной Армии, погиб в Средней Азии в стычке с басмачами. Левина мама работала на скромной должности кассирши в детском театре. Вся глубинная Левина страсть, все его увлечения, поиски, жадность к жизни, наслаждение плодами человеческого ума исходили из внутренней потребности самопознания и самостановления. Поскорее определить себя в безбрежно великом мире! Тут не было никакого подталкивания извне. По сути дела, этот мальчик всему научился сам. Из чего делаю вывод: всесторонне развитая личность — итог самостоятельности мышления и чувства ответственности перед жизнью.

Поразителен факт, о котором я узнал много лет спустя после гибели Левы. Его мать дала мне дневники, которые Лева вел почти все школьные годы. Но из двух десятков толстых тетрадей сохранились только четыре, последние — весна и лето сорок первого года. Мы заканчивали тогда девятый класс. В мае Лева записывал: «Война начнется в середине или конце июня. Благодаря тому, что немцы нападут на нас коварно, неожиданно, они будут иметь преимущество и в первые месяцы захватят большую территорию. Война будет кровопролитной и долгой».

Далее в дневнике идет подробное и потрясающее точное предвидение хода войны, вплоть до того, что «оборона Одессы будет длиться не сколько месяцев» и «немцы окружают Ленинград, но взять его не смогут».

В конце этих торопливых, сделанных неряшливым школьным почерком записей мая сорок первого года выражена твердая уверенность в нашей победе. «В результате, конечно же, победит Советский Союз, и фашистская Германия будет разгромлена».

Тетради школьника Лёвы Федотова находятся у меня. Гениальные мальчишки не переводятся на нашей земле. Вероятно, гениальность и есть иное, старомодное и романтическое определение того, что именуется «всесторонне развитой личностью». Не всем дана подобная благодать, но все могут — и должны — к этим вершинам стремиться.

Один человек спросил: а какой прок от этих «всесторонне развитых личностей»? Прок есть. Люди, подобные Лёве Федотову, распространяют вокруг себя большую — хотя невидимую подчас — пользу. Добро, человечность, талант, любовь к жизни окрашивают в свой цвет то, что соприкасается с ними.

1977

«НАРОДНОСТЬ И ПАРТИЙНОСТЬ» МОИХ КНИГ

В каком смысле Вы считаете себя учеником Чехова?

Чехов. Позиция художника — не проповедник, не судья, не пророк.

Он — сочувствующий рассказчик. Сострадающий рассказчик. Он предлагает читателю понять, решить и видеть. Это вовсе не значит, что он равнодушен, бесстрастен.

Художественно близок: стремление к краткости, объему. Спрессованные романы. Громадная концентрация содержания. Интерес к характерам людей. Не столько сюжет, не пейзажи, не пластика, не философствование, а характеры. Через них и ради них — все остальное.

Вы говорите, что описываете простых людей, многие миллионы нового советского общества. Некоторые критики, в свою очередь, отрицают, что описанные Вами типы представительны. Как Вы им отвечаете?

Представительность или типичность героев — это то, на чем ломали зубы многие критики. Очень легко от требования «типичности» соскользнуть в неплодотворный вульгарный социологизм. «Мужики» Чехова. Лакей московского ресторана Чикильдяев — большой, тихий, религиозный человек... Он ужасается звериной жизнью «Мужиков». Михайловский резко критиковал Чехова: Чикильдяев нетипичен... Лакеи не таковы... Лакеи развязны, наглы, буржуазны, жадны до денег...

А Чехов изобразил неповторимого человека. Нынешние «деревенщики» тоже критикуют Чехова за «Мужиков» — он, дескать, не понял крестьянина, не знает его... Глупости! Чехов изобразил реальных людей, которых он встретил в жизни.

Не его вина, что они не соответствуют чьему-либо представлению о «типичном» лакее или «типичном» мужике. Требовать «типичности» это все равно, что требовать у художника, чтобы он всегда снег изображал белым. На том основании, что он чаще всего белый. Но ведь снег бывает и голубым, и серым, и розовым, даже зеленым: в зависимости от времени дня, света, облаков и от настроения того, кто смотрит на снег.

В изображении людей меня интересует как раз не типичное, не среднее, а неповторимое, единственное.

Ибо из этой неповторимости, уникальности возникает в конечном счете общее, типическое — живой человек.

Лакей Чикильдеев похож не на всех других лакеев, а на всех других людей. Мои герои: инженер Дмитриев, переводчик Геннадий Сергеевич, историк Сергей похожи не на инженеров, переводчиков и историков, а на всех других людей.

Я не желаю делить людей на разряды. Этим занимался псевдореволюционер Нечаев.

Известно, что советская литература должна быть «народной и партийной», как говорилось на многих съездах. В чем состоят «народность и партийность» Ваших литературных трудов?

«Народность и партийность» моих книг, как я это понимаю, в том, что я избегаю лакировки и стараюсь писать правдиво... Ведь это хочет народ и к тому же призывает партия.

Почему Вы отвергаете этикетку «мелких буржуа», которую на Западе часто применяют к Вашим героям: только по лингвистическим мотивам, или этот термин носит негативный характер, или же по каким-то иным причинам?

Почему я отвергаю ярлык «мелких буржуа» — то есть «мещан», — который применяют к моим героям? Во-первых, потому что я против всяких ярлыков и этикеток. Я уже говорил о том, что не люблю, когда в литературе заводят порядок, как в аптеке.

А во-вторых, есть слова, которые с течением времени обрастают таким количеством понятий, смыслов и ассоциаций, что исчезает их суть.

Так произошло со словом «мещане». В это понятие вложено непомерно много. Оно лишилось мускулов. Оно не работает. Поэтому я отбрасываю его, как ненужную ветошь.

Каково Ваше мнение — с эстетической и с политической точек зрения — о Вашем первом романе «Студенты», принесшем Вам известность и премию?

О своем отношении к «Студентам» я неоднократно писал.

Это слабая юношеская вещь со многими розовыми пятнами того времени, когда она писалась. Но это моя вещь, я от нее не отказываюсь. От своих книг отказываться нельзя, хотя можно уходить от них далеко.

Вот я ушел далеко. Некоторые молодые литераторы — я встречал таких — были убеждены в том, что был какой-то Юрий Трифонов, который когда-то написал каких-то «Студентов», и есть другой Юрий Трифонов, который работает сегодня. Может быть, они и правы!

Какова центральная проблема Вашего нового романа «Старик»?

Центральная проблема «Старика»? Это коварный вопрос. Книга еще не появилась на свет, а вы хотите вытрясти из нее душу... Это бывает трудно сделать и с существующей книгой, а я считаю, что книга существует только тогда, когда она напечатана и ее читают...

Если хотите, в общей форме: проблема «Старика» — это проблема человека и времени. Роман короткий, но охватывает почти шестьдесят лет жизни.

Вы сразу же нашли издателя для «Дома на набережной»? Эта книга вызвала полемiku?

В нашей стране, после определенной критики и некоторого издательского смущения, книга «Дом на набережной» выйдет в будущем году в издательстве «Советская Россия».

В социалистических странах и странах Запада — в ФРГ, Франции, Италии, США, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии эта книга уже напечатана или же будет напечатана в ближайшее время.

Полемика вокруг этой книги была скорее устной, чем в печати. В печати появились всего два отклика, заметка в «Литературной газете» и статья Дудинцева в «Литературном обозрении» — оба отклика малосодержательны. Некое пролитие кислоты...

ЯДРО ПРАВДЫ

Дорогой Мартин Вальзер!

Попробую ответить на Ваш вопрос: как поживаете? Слышишь этот вопрос каждый день, а отвечать всерьез приходится редко. Попробуем! Но мы находимся в не совсем равном положении. Вы прочитали мои повести и сказали по этому поводу добрые слова, за что я Вам глубоко благодарен, я же не мог прочитать Ваши главные книги, ибо они еще не переведены на русский, а по-немецки я читаю с некоторым трудом. Это не то чтение, которое необходимо для понимания прозы. Я смог прочитать Вашу повесть «Болезнь Галлистля», которая меня восхитила своей простотой и правдивостью. Как ни странно, я чувствовал себя временами Галлистлем, ибо испытывал очень похожие ощущения, замечая у себя те же самые симптомы болезни. Что касается Ваших больших романов, то они у нас пока еще неизвестны, к сожалению. По-видимому, люди, наблюдающие за общественным пищеварением, считают, что они

недостаточно съедобны для наших желудков. Кстати, эти лица глубоко заблуждаются, полагая свой вкус эталонным!

Впрочем, коли зашла речь об изданиях и обоюдном знакомстве... Мне кажется, судя по Вашему письму, дорогой Вальзер, что и Вам недостаточно известна современная русская проза. Я считаю себе близкими таких писателей, как Андрей Битов, Виталий Семин, Валентин Распутин, Юрий Казаков. Есть еще несколько имен. Не все из этих писателей переведены в ФРГ, а те, кого перевели, издаются мизерными тиражами — неудивительно, что их книги Вам не попались. Малое знание друг друга — беда не только народов, но и писателей. Если говорить о разрядке, как о необходимости, то начинать, наверное, надо с самого простого — знакомства. Быстрее всего можно узнать людей с помощью книг, говоря точнее — с помощью прозы. Мне кажется, я отлично знаю немцев двадцатых, тридцатых годов, я их чувствую, вижу, они мои друзья, мои враги, они ж и в ы е! Откуда? Я был мальчиком, не жил в Германии. Они пришли из книг Томаса и Генриха Маннов, Фаллады, Фейхтвангера, Келлермана. А послевоенных немцев узнал из книг Белля. Все это общеизвестно. Кажется, я говорю банальности. Мы знаем друг о друге неизмеримо меньше того, что могли бы знать, поэтому Вы удивляетесь, прочитав о людях, которые болеют, страдают, любят почти так же, как люди в Вашей стране, а я поражаюсь тому, что болезнь Галлисла напоминает мои недомогания.

Так как же я живу, спрашиваете Вы? Из Вашего содержательного письма я кое-что понял о Вашей жизни: она непроста, небезмятежна, подвержена воздействию многих и разных сил. Да и в моей жизни есть сложности, тревоги, она тоже запутана многими обстоятельствами. Сегодняшняя жизнь — это также и груз прошлых лет. Для того чтобы понять сегодня, надо понять вчера и позавчера. Ничто из прожитого не исчезает бесследно. Если хотите, расскажу Вам, что было у меня вчера и позавчера. Я — писатель. Говоря точнее — сочинитель. «Писатель» в истинном значении этого русского слова — понятие более высокое, чем просто человек, пишущий книги для развлечения публики, чем беллетрист. Поэтому не знаю — писатель ли я. Может быть, становлюсь им понемногу и отчасти. Вчера я был беллетристом, а позавчера, когда московским школьником, рабочим авиационного завода во время войны и студентом литературного института портил бумагу, исписывая толстые тетради в клетку, я плохо представлял себе разницу между писанием и сочинительством. Первые свои книги не могу читать. Как будто писал другой человек. Нет, не отрываюсь от них, я был таким, я так чувствовал, так понимал. Мы пережили тяжкие годы — войну и то, что было перед войной и после войны — и это, тяжкое, не могло просто исчезнуть.

Если тяжкое не могло исчезнуть из жизни, то как оно может исчезнуть из литературы? Тут возникают сложности. Иные люди — будем называть их наблюдателями за здоровым пищеварением — считают, что не

надо ничем отягощать желудки. Я же считаю: если съели испорченное мясо, надо непременно его выблевать, выкинуть наружу без остатка и, только когда очиститесь от гнили, можете продолжать жить. Иначе здоровья не будет. Нельзя напихивать в себя самые доброкачественные продукты, если где-то внутри осталась гниль. Литература обладает великой силой очищения. Правдивый рассказ о жизни — о той, что была, о той, что есть, — может исцелить, помочь, внушить, освободить. Неужели литература что-то может? О, да, полагаю я, но не совсем литература, не вся литература, а вот сидящее в ней, в словесах, в кудрях, в красоте — ядро правды. У нас есть такая поговорка: «Вшивый — про баню». Опять, скажут, некоторые, Трифонов завел речь о своих болячках: тридцать седьмом годе, невинных жертвах и так далее. Верно, в этой боли есть мое собственное, личное. Моя семья пострадала сильно. Тридцать седьмой год практически ее уничтожил: отец был расстрелян, мать выслана в лагерь на восемь лет, один дядя тоже попал в лагерь, другой «спасся» тем, что умер от разрыва сердца в том же тридцать седьмом году. Сейчас эти люди посмертно реабилитированы, о них пишут в статьях и книгах о Гражданской войне. (Я имею в виду отца и его брата, моего дядю). Это были люди, бесконечно преданные революции. Они пали жертвами произвола Сталина. Зачем нужно было Сталину уничтожать людей, бесконечно преданных революции? Историки и философы приводят разные социальные и исторические причины. Изобретен термин: культ личности. Когда-нибудь разберутся досконально. А впрочем — разберутся ли? До сих пор спорят о том, что заставило Ивана Грозного ввести опричнину. Мне кажется, при всем множестве причин была одна причина — главная и простая: биологическая жажда абсолютной власти. Затем, после двадцатого съезда, на котором партия открыто сказала о сталинском произволе и осудила его, началось медленное и болезненное восстановление того, что Сталину удалось порвать... Иные люди говорят теперь: довольно! Все, что надо было сказать, сказано. Не надо беречь старые раны.

Я согласен с тем, что все это, болезненное и тяжкое, пережито страной, перемолото временем, перечувствовано поколением, которое ушло из жизни или уходит, и не надо, не надо, не надо... Разумеется! Надо — дальше. Надо — вперед. И мы двигаемся, идем, у нас другие задачи, новые проблемы, страна меняется, уже изменилась во многом, писатель обязан поспевать за временем, не топтаться на месте. Но не надо делать вид, будто ничего не было. Ибо то, что было, — у нас в костях, в зубах, в коже. Да, вспоминать о больном неприятно — и разным людям неприятно по разным причинам, — но литература, по моему, для того и существует, чтобы тревожить, беспокоить, не давать забывать, преподносить неприятное. Помню, как одна ученая дама, с которой меня знакомили, спросила: «Это вы написали «Предварительные итоги»? «Я». «Зачем вы это сделали? Ведь неприятно читать!» «Для того и сделал, чтобы было неприятно».

В самом деле: приятное — в другом месте. Например, в павильоне фруктовых вод. Часто приходится слышать: вы пишете о плохих людях, вспоминаете о горьком, не умаете радоваться. Огорчает вот что: иные читатели искренне не понимают, зачем надо возвращаться к трудным и несчастливым временам, зачем писать о людях с тяжелой судьбой, о неудачниках, неврастениках, эгоистах? Не понимают того, что плохих людей для литературы нет, все одинаково хорошо, то есть интересно. Итак, я незаметно сполз с темы плохих времен к теме плохих людей. И то и другое доставляет порядочно хлопот в жизни, я имею в виду литературную жизнь. Приходится объяснять, оправдываться, защищаться, прилагать усилия. Но тут я должен признаться: моя писательская судьба складывается — пока что — удачно. Все укору, нападки, порицания, резкости все-таки вокруг уже вышедших книг. То есть главное происходит: книги печатаются. После появления повестей «Обмен» и «Предварительные итоги» среди читающей Москвы — понятие распылчатое, но оно существует — бродило такое мнение: Трифионов клеветает на интеллигенцию. Говорили так не самые умные читатели, но ведь не самых умных читателей немало. Я сначала сердился, потом привык, перестал обращать внимание. Потом так говорить перестали, хотя я написал еще две повести на сходную тему. Впрочем, поговаривают иногда и теперь. Сколько людей — столько мнений, сколько экземпляров книг — столько выводов... Безнадежное дело — вступать в спор с читателем.

Но иногда терпение лопается, и я выступаю. Это делать не нужно. Даже в письме Вам мне не следовало бы изливать свое раздражение против иных читателей, ибо все равно мы — сочинители книг — беззащитны и только делаем, что подставляем бока. Считаете, я травлю интеллигенцию? Да, да, травлю, совершенно верно, не спору, ибо травлю себя, значит — ее, и то, что ненавижу в себе — ненавижу в ней... Вот как следует отвечать, а я размахиваю руками и начинаю кричать высокомерно: «И вы себя считаете интеллигенцией?!»

Так как же я все-таки живу? Вас интересует, вероятно, как вообще живет советский писатель. Может быть, Вам представляется эта жизнь несколько таинственной. Я Вас разочарую. Советские писатели живут — по сути своего отношения к материалу, к бумаге, к читателю, к тому, что «победитель не получает ничего» — примерно так же, как другие писатели повсюду. Тут ничего нового придумать нельзя. Недаром Юрий Олеша где-то писал о том, что ему кажется, будто все писатели мира и всех времен — как бы один писатель. Верно, сидящий в нас — писательский механизм в чем-то главным однообразен. Как механизм часов. Могут быть разные оболочки, деревянные, стальные, разные размеры, футляры, оправы, но внутри — те же самые колесики. Жизнь, характеры людей, их судьбы, поток времени — как перелить в слова? То же самое чувство бессилия, те же муки начала и конца, то же одиночество перед листом бумаги. Многие на Западе думают,

что мы работаем по заказам, выполняем какие-то планы, что темы книг нам навязывают по разверстке и что мы не можем писать о том, о чем хотим. Разумеется, есть такие книги, пьесы, киносценарии, которые пишутся по заказам театров, издательств, киностудий — темы предлагаются писателям, они вольны согласиться или нет (я написал так, по заказу издательства роман о русских террористах прошлого века «Нетерпение», который вышел в ФРГ в издательстве Bertelsman под названием «Die Zeit der Ungeduld», но согласился на этот заказ только потому, что тема и фигура Желябова меня давно интересовала) — однако в основном авторы выбирают темы для своих книг сами.

У нас, как и на Западе, действует система договоров: при заключении договора писатель получает аванс, дающий возможность начать работу. В 1949 году я закончил Литературный институт имени Горького, моей дипломной работой был роман «Студенты», который через год был напечатан в журнале «Новый мир», в 1951 году я вступил в Союз писателей, и с тех пор — профессиональный писатель, нигде не работающий, то есть работающий только дома и живущий на гонорары. Так живут большинство моих товарищей. От аванса до аванса. От аванса до шестидесяти процентов, и от шестидесяти процентов до полного расчета плюс тиражные. У меня были невеселые времена, когда я жил скудно, зарабатывал на жизнь статейками в спортивных журналах и газетах и продавал книги из собственной библиотеки. Кое-что из жизни Гриши Реброва («Долгое прощание») взято из моей жизни. С той разницей, что Гриша Ребров еще ничего не успел, был в самом начале, я же бедствовал уже будучи писателем и автором книги, получившей Государственную премию. Почему так случилось? Я не мог найти темы, мне не писалось, это был кризис, знакомый многим писателям во все времена... Спасаясь от кризиса, бежал из Москвы подальше, в Среднюю Азию, мне казалось, что спасет даль, экзотика, нечто чужое и необыкновенное. Несколькими лет летал самолетами в Туркмению, в пустыню Каракум, где строился канал, собирая материал для романа, изучая мелиорацию, гидрологию, ботанику, бульдозерное производство, этнографию и географию — боже мой, сколько лишней работы! — и через десяток лет сочинил второй роман, отнявший так много сил, жизни... Но готовясь к роману, я написал несколько рассказов, к которым относился несерьезно. Считал их заготовки. Потом оказалось, что в них было в зародыше то, что я искал. Постепенно от чужих жизней, от бульдозерных проблем подобрался к своему личному опыту, к тому, что у меня болело — может, причиной послужило несчастье, случившееся в семье десять лет назад. Не знаю, интересно ли Вам все это? Просто это какие-то вехи прожитого времени: для того чтобы понять сегодня...

Ничего исключительного, ничего выдающегося. Но ведь для литературы пригодно все, даже такая скучнейшая материя, как твоя собственная жизнь. Я уразумел это поздно. Возвращаясь к плохим людям. У Чехова в рассказе «Дуэль» есть такое выражение: «Плохой хороший

человек». Это то, что мне близко. В человеке накручено и навёрчено много всего. Меня интересует: каков он стал за последние двадцать, тридцать, пятьдесят лет? Стал ли он добрее, благородней, великодушной, терпимей, бескорыстней? Что происходит с нравственным зарядом человека? Почему-то кажется, что вид *Homo sapiens* деформируется — то есть несколько изменяет форму, а может быть, в чем-то и суть — под влиянием войны, террора, голода, авиации, телевидения, ядерных взрывов и изобилия трикотажных товаров. Но какой-то главный стержень остается! Вокруг него воз и навивается...

Мне не хочется поддакивать великому Томасу Манну, когда он иронизирует над словом «гуманизм», без раздумий заменяя его отвратительным словом «буржуазность». То, что в 1930 году казалось блестящим и метким, представляется несколько сомнительным теперь, спустя почти полустолетие. Время — это груз понимания. Случившееся в Европе в тридцатые и сороковые годы, вероятно, изменило мнение Томаса Манна о слове «гуманизм». Потому что появились слова куда более неприятные, чем «гуманизм» и даже чем «буржуазность», например, «концлагерь» или «газовая камера». Вот тут-то мы зарыдали над забытыми словами, которые вызывали когда-то насмешки и раздражение! О нет, гуманизм еще пригодится. Конечно, к этому понятию налипло много лишнего, чепухи, нелепости и дряни, но где-то внутри, в середине — как в человеке — в нем сидит доброкачественное: человечность. Не ради этого ли — того, что в середине, — мы портим бумагу? Вы знаете, меня многое раздражает, если сказать честно. Раздражают люди. Привычки, нравы. Раздражают ложь, лицемерие, жадность, глупость, начальственная спесь и низменное холуйство, рабство души. Я это наблюдаю. И в себе тоже. Трудно вытравить. Чехов однажды признался в том, что «по капле выдавливал из себя раба». Умные литературоведы сделали вывод, что тут сокрушенный намек на происхождение: из крепостных. Однако сколько рабов было среди аристократов и придворных сановников голубой крови! Можно быть рабом наживы, рабом мебели, рабом мелких страстей и собственного эгоизма. Чехов мечтал о внутренней свободе и, глядя вокруг, почти не встречал людей, не угнетенных рабством.

Нынешний человек, разумеется, отличен от современников Чехова. Внутренней свободы стало больше — для всех, не только для избранных. В нашей стране у людей нет страха за завтрашний день, значит, нет важного стимула рабства. Но как быть с рабством другого рода: рабством бездуховности? Сытой отрыжки? Равнодушия и неинтереса ко всему, что не касается собственной драгоценной персоны? В русском языке есть такое обширное понятие, надувное и растягивающееся, как детский резиновый шар, — мещанство. Оно вмещает громадное число всевозможных пороков. Практически, в эту резину можно засунуть все дурное, что мы наблюдаем в людях. Вплоть до тяжелых преступлений, которые совершаются людьми, получившими, конечно же, мещанское вос-

питание. Критики говорят, что в повестях я обличаю мещанство. Раньше я возражал. Теперь молчу. Мне казалось, что критики хотят упрятать меня в загон небольшого размера. Теперь думаю: не все ли равно, как называть зло, по которому наносят удары? Важно наносить удары, а не подыскивать названия. Пусть так: я бью мещанство. Но не забывайте, критики, что достается и нам с вами, не только мещанам.

Приходится слышать: вы изображаете дурные качества людей, дурные явления жизни, но не вскрываете причины явлений и не показываете, как с ними бороться. Я вспоминаю Герцена: «Мы не врачи, мы — боль». Это определение верно и теперь, спустя столетие. Литература должна выражать боль. Боль всегда существовала и будет существовать, она сопутствует жизни. И только у покойника ничего не болит.

Я не тронул многих политических, исторических и философских тем, которые Вы всколыхнули в своем письме. Собственно, я попытался ответить лишь на один вопрос: как я живу? Пришлось коснуться прожитых лет и давних времен, потому что иначе многое непонятно. Вы правы, говоря, что писатель на весь свой жизненный опыт отвечает книгами, а прочие ответы куда менее достоверны. Не знаю, сумел ли я хоть что-нибудь объяснить. Писатель живет в безграничном мире, среди шума и гама множества людей, и в то же время — в одиночестве и тишине. Разрывают сомнения: нужен ли ты этому множеству людей или нужен только своему одиночеству? За последние годы — может быть, лет пять — в стране произошел загадочный книжный бум. И раньше читали много, но то, что происходит теперь — не идет ни в какое сравнение с прошлым. Книжные магазины выметаются под метелку. Покупается все. На улицах стоят очереди за книгами. Старые книги чудовищно подскочили в цене. В связи с невероятным спросом процветают всякого рода книжные барышники и спекулянты. Как понять эту безумную жажду к печатному слову? Эту безотборность? Это хватание, глотание любых двухтомников, любых собраний сочинений и переплачивание вдвое, втрое? Был страх, что телевидение и кино погубят литературу. Ничего подобного! Гордые соперники посрамлены, так же, как футбол, хоккей, конкурсы, песни — книга вновь, как в незапамятные времена, стала предметом наибольшего вожделения. Это хорошо, хотя иные стремятся не столько книгу прочесть, сколько купить. И все же очевиден стихийный порыв к культуре; с океанским валом, которым вымываются магазины, будут унесены истинные книги тоже — и, может быть, будут прочитаны. Поэтому наше дело не последнее. Какую-то частицу боли можно передать, кто-нибудь отзовется — пускай немногие, пускай пять, шесть или восемь человек — задумаются, вспомнят кого-то, страдающего от похожей боли, пожалеют его, и все уже не напрасно.

Минувшей осенью я был на Франкфуртской книжной ярмарке, которая меня поразила и, надо сказать, удручила. Я почувствовал бессилие одной книги, ничтожество одного автора. Разумеется, есть авторы Геркулесовой мощи, которым не страшны Гималаи книг — но много ли та-

ких? День я проводил в павильонах, вечером ходил в кино. Помню посещение кино, которое удручило меня еще больше, чем книжный поток. В полупустом зале показывали замечательный фильм Формана «Один пролетел над гнездом кукушки» о сумасшедшем доме. Показывали несчастных людей, безумцев и уродов, лица которых были искажены страданием. Появление каждого безумца вызывало в зале смех. Они смотрели картину, как комедию. Я подумал: какова же цена несметным полчищам книг, назначенных учить добру и пониманию, если не понимают простых слов: «Сочувствуйте! Сострадайте!» Да что говорить о читателях, зрителях, когда есть писатели... У одного талантливого поэта есть изумительные строчки: «Мне страшно: Я ни разу не страдал». Понятно, что он хотел сказать: жизнь складывается сравнительно благополучно, но есть страх, что благополучие кончится и начнутся страдания. А как насчет того, чтобы пострадать за других? Посочувствовать чужому горю? Но в принципе я оптимист. Этот грех за собой знаю. В самые худшие времена меня не покидала уверенность, что все окончится благополучно. Поэтому верю: поэт поймет, что такие строчки писать стыдно, а зрители в кинотеатрах не будут смеяться в тех местах, где надо плакать. Когда-нибудь это непременно произойдет. Писателям следует продолжать свое безнадежное дело.

Потому что иногда ты встречаешь человека, иногда ты получаешь письмо, иногда в твоей квартире раздается телефонный звонок — и ты радуешься, как идиот, оттого, что вдруг понимаешь, что твоя порча бумаги кому-то зачем-то...

Извините, дорогой Мартин Вальзер, за сунбур и раздерганность моего письма, в котором Вы, наверное, надеялись найти нечто иное. Но Вы сами знаете, как трудно отвечать на вопрос «как поживаете?».

1977

ТРИЗНА ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ВЕКОВ

Что же скрыто в глубинах народной памяти, что сохранилось, пережилось, превратилось в уголь, в руду, в нефть? История живет в книгах, а историческая память — в языке и в том, что принято называть душой народа. Никто, кроме структуралистов, не может в точности объяснить, что есть душа, но необъяснимое существует, и в этом необъяснимом существует другое необъяснимое — память — и тут мы находим дошедшие из шестисотлетней дали искры-слова: «Мамаево побоище». От многовекового употребления словосочетание это стерлось, потускнело, оплыло, как древний пятак, из него вытекла кровь и отлетел ужас. «Ребята! — говорят родители детям. Что вы здесь Мамаево побоище устроили? А ну прекратите сейчас же!» Но сохранились другие слова: ярлык, ясак, аркан. И в них — железный стук, рок, нет спасенья.

«Бог бо казнит рабы свои, — говорит летописец, — напастьми различными, и водою, и ратью, и иными различными казнями; хрестьянину бо многими напастьми внити в царство небесное».

Спустя столетия все видно просторнее. Да что же было? В Италии только что ушли из жизни Бокаччо и Петрарка. Во Франции кипела Жакерия, вспыхнула и погасла первая Коммуна, в Англии проповедовал Джон Веклиф, воспитанный на Роджере Бэконе, предтеча Реформации, считавший, что «опыт, главный метод всякого знания», и Чосер писал свои «Кентерберийские рассказы». В Праге и Кракове открылись университеты...

Летописец не мог угадать того, что увидел спустя четыре века Пушкин: «России определено было высшее предназначение: ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу поработенную Русь и возвратились в степи своего Востока». Варвары возвратились, оставив аркан на воле русской земли, и ханы в Орде напрягали его, то ослабляя, то сжимая петлю, почти два с половиной века. А русский народ не знал о сонетах к Лауре и не слышал о Кентерберийских рассказах, но, возможно, его страдания связались с ними — с рассказами и сонетами — какой-то другой, отдаленной и незримой петлей? Да уж если про то, надо вспомнить более давнее, домонгольское: почти два столетия боролась Русь со степняками, заслоняя им ход в южные земли Европы — без умысла, лишь обороняя себя — и изнемогла в борьбе, и стала отрываться от степняков на север. Монголы накатились на уже изнемогающую Русь. Жизнь при монголах непредставима. Все было, может быть, не так ужасно, как кажется. И все было, может быть, много ужасней, чем можно себе представить. Есть ученые, которые полагают, что иго при всех его тяготах, поборках, невыносимостях имело некоторые положительные стороны: оно принесло на Русь своего рода порядок. «А все же при них был порядок!» — говорили какие-нибудь дьяки, откупщики в конце пятнадцатого века. Ну да, монголы устроили ямскую службу, чинили и охраняли дороги, ввели перепись населения на Руси, противились самочинным судам и всякого рода бунту, но все это для удобства угнетения. Еще приводят такое соображение: иго содействовало объединению русских земель, укреплению Москвы. Но это все равно что говорить: спасибо Гитлеру, если б не он, наша армия не стала бы в короткий срок такой мощной. Монгольское владычество, конечно, спланивало народ и князей, страдавших от общей беды — хотя князья, духовенство страдали куда меньше народа, — но оно же развращало, выдвигало гудших, губило лучших, воспитывало доносчиков, изменников, вроде рязанского князя Олега, который ради ханских подачек не раз предавал своих братьев. А каким унижением, глумлением, а то и пыткам подвергались русские князья, совершавшие многотрудные поездки в Орду, чтобы выпросить ярлык или ханскую милость в какой-нибудь распре с таким же горемыкой. И все это происходило небесследно для

того необъяснимого, о чем мы говорили выше и что за неимением лучших слов называется душой народа. Карамзин писал: «Забыв гордость народную, мы выучились низким хитростям рабства».

Неисцелимые раны нанесены, вековая боль опалила, но потомки никогда не прочувствуют этих ран и не поймут этой боли. Потому что все состояло из малого, из ничтожного, из каждодневного сора, из того, что потомкам не увидеть никаким зрением и фантазией. Летописи сохраняют редкие и сверкающие в одиночестве притчи вроде рассказа про княжью сына Федора, посла к Батю, который в ответ на просьбу Батю показать ему наготу жены своей, красивой Евпраксии, ответил: «Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь». Батый разгневался и велел убить русских послов. А Евпраксия в отчаянье бросилась с высокой башни и «заразилась», то есть убила насмерть. На том месте стоит город Зарайск, он же «Зараск». Но тьмы безвестных Федоров и Евпраксий рубились мечами и бросались в реки, на камни, на копы. Ведь самое ужасное было то, что это вышло долгое. Люди вырастали, старели, умирали, дети старели, умирали, дети детей тоже старели, умирали, а все длилось — тамга, денга, ярлык, аркан. Конца было не видеть. И люди понемногу дичали в лютом терпении — привыкали жить без надежды, огрубели их сердца, остудилась кровь. Хитроумный Калита возвратился в 1328 году из Орды, выпросив послабления для Руси. Летописец «И бысть оттоле тишина велика по всей Русской земле на сорок лет и пересташе татарове воевать землю Русскую».

Время с 1328 по 1380 год, когда напал на Русь Ольгерд Литовский, считалось порою отдыха для народа. Но монголы этой передышкой делали роковой промах, — они допустили народиться поколению, которое не знало страха. С ним монголы и встретились на Куликовом поле.

Смысл Куликовской битвы и подвига Дмитрия Донского не в том, что пали стены тюрьмы — это случилось много позже, — а в том, что пали стены страха. Все верно, Мамай уничтожил не Дмитрий Донской, а Тохтамыш, тот же Тохтамыш спустя два года разорил Москву, мстя за поражение на Дону, и опять затягивался аркан, и все как будто возвращалось к прежнему, но пали стены страха, и прежнего быть не могло. Русские увидели векового супостата битым и бегущим с поля боя. Чтобы истинно оценить происшедшее в излучине Дона и Непрядвы, надо хоть глазом, по грубой карте сравнить противников: крохотное Московское княжество вкупе с несколькими соседними и безграничная империя, протянувшаяся от берегов Волги до желтых китайских рек. (Усобицы между улусами, сотрясавшие империю, в расчет не берем, усобицы и на Руси хватало.) И можно ли было решаться вступать в бой с исполнимом? По трезвому разумению — нет. В порыве безрассудной отваги, а точнее сказать, в порыве освобождения от страха — можно. Летописец писал про Дмитрия: «аще книгам не учен сый добре, но духовные книги в сердце своем имаше». Гениальность Дмитрия заключалась в том, что он почувствовал то, чего сами монголы еще не понимали — страховид-

ное чудовище уже скрипело суставами, уже качалось. Никакие набег ордынцев на Москву не могли уже остановить крепнущей молодой силы, а начало тому положило бесстрашие на поле Куликовом.

Есть еще другой смысл, проникновенный и сердечный, в памяти о Куликовской битве. И этот, другой, еще глубже вкоренился в народную душу, чем горделивое сознание победы и будущего величия Москвы — жалость к убитым. «Задонщина» — плач по жертвам побоища. «Грозно бо и жалостно, брате, в то время посмотри, иже лежат трупы христианские аки сенные стоги у Дона великого на брези, а Дон река три дня кровью текла». Современников битва потрясла прежде всего избытком крови — громадный пласт народа был вырван из жизни, и ведь погибшие были не просто молодые люди, а лучшие люди Руси. Но автор «Задонщины» плачет не только по русским, павшим в битве, его скорбь всеохватна, его слезы — по всем убиенным, по человечеству. «Уже нам, братья, в земле своей не бывать, и детей своих не видеть, и жен своих не ласкать, — стонут умирающие татары, — а ласкать нам сырую землю и целовать зеленую мураву... Застонала земля татарская, бедрами и горем наполнившаяся...»

Сразу по окончании битвы князь Дмитрий велит считать: скольких воевод нет и скольких молодых людей нет? Горестным списком заканчивается «Задонщина». «Господин князь великий Дмитрий Иванович! Нет у нас сорока бояр больших московских, двенадцати князей белозерских, тридцати бояр новгородских посадников, двадцати бояр коломенских, сорока бояр переяславских, двадцати пяти бояр костромских, тридцати пяти бояр владимирских, пятидесяти бояр суздальских, семидесяти бояр ростовских, двадцати трех бояр дмитровских, шестидесяти бояр звенигородских, пятнадцати бояр угличских. А погибло у нас всей дружины двести пятьдесят тысяч».

По ним, забытым, совершается теперь тризна через шесть веков немилосердной русской истории. Прочнее всего в народной памяти — скорбь.

1980

НЕЧАЕВ, ВЕРХОВЕНСКИЙ И ДРУГИЕ...

В чем загадка Достоевского? Почему спустя сто лет после смерти он один из самых живых, сильно действующих, необходимых человечеству? Художественная и мыслительная мощь Достоевского не растратилась в десятилетиях, а, наоборот, неуклонно возрастает и крепнет. Его влияние на литературу XX века неоспоримо. И не только на литературу. Это тем более загадочно, что с точки зрения литературной формы Достоевский — писатель неправильный. Живописность, образность, пласти-

ка — все то, что в привычном понимании составляет плоть прозы, Достоевского не заботит. Он лишен зуда все непременно с чем-то сравнивать. Метафоры его не интересуют. Он может спокойно написать: «Он покраснел, как рак», или «Он покраснел, как пион». Пейзажей в его романах почти нет. Они тормозят действие. Мысли, чувства, идеи извергаются лавой, и нет времени останавливаться и глядеть на природу. А передавать посредством пейзажа душевное состояние, как учит литературоведение, Достоевскому не нужно — он передает состояние другим способом. Речи героев несуразно длинны. Люди так долго, нудно, страстно, бесконечно не разговаривают. Да и композиция романов какая-то сумбурная, неестественная — отдельные лица высказывают вначале, потом исчезают; незначительные события занимают много места, значительные — мало. Есть фигуры будто бы важные, о которых мы не знаем решительно ничего, кроме того, что они исполняют служебную роль — рассказчика. Но ведь так не делается по правилам проза. Каждая фигура должна быть осязаема. Иначе зачем ее ставить в сочинение? И на всем печать неистовой спешки, оттого небрежность, неряшливость, неотделанность. Ну да, он был в долгах, он спешил, ему некогда было шлифовать, оттачивать.

И вот оказывается...

Да мы ничего этого просто не замечаем! Никаких «покраснел, как рак», никаких несуразностей, неестественностей! Потому что он захватывает главным — обнажает перед нами внутреннюю суть людей. А ведь нет ничего интересней, как заглядывать внутрь других и себя. Он описывает то, что наименее доступно описанию, — характеры. И для этих описаний — я бы назвал их психологическими пейзажами или пейзажами души — не жалеет ни красок, ни подробностей, ни зоркости, ни многих, многих страниц. Исследуя характеры, Достоевский исследует все стороны человеческого бытия. Все тайное и запертое отмыкается этим ключом. Такая работа требует глубокого погружения. Магма характеров находится в недрах, под великою толщей — ее надо прорвать, прогрызть. Мы, обыкновенные сочинители, находимся на поверхности, где пейзажи, а лазерный луч Достоевского проникает вглубь. Перед началом работы над романом «Бесы» — книгой политической и полемической, требовавшей, вероятно, в первую очередь социального анализа, — Достоевский написал в черновике чуть ли не первую фразу: «NB. Все дело в характерах».

Для раскрытия характеров Достоевский ставит героев в ситуации, которые теперь принято называть экстремальными. Но в наше время, когда это понятие возникло и стало излюбленным у критиков, оно связано с войной, тайгой, пустыней, кораблекрушениями, прорывом дамбы и прочим в этом роде. Связано с тем, что требует физической смелости и спортивной закалки. Достоевского интересуют экстремальные ситуации духа. Человек мучается, приходит в отчаяние, решается на безумные поступки каждую минуту, ибо все это происходит в глубине созна-

ния, чего мы не замечаем, а он видит. В экстремальной ситуации находится Раскольников, убивший двух людей, но в экстремальной ситуации находится и Макар Деушкин, терзающийся от собственного ничтожества, и Степан Трофимович Верховенский, который никого не убивал, живет в достатке, но он приживал, неудачник, вынужден терпеть сумасбродную любовь генеральши Ставрогиной, и это делает жизнь невыносимой. Недаром он говорит: «Я человек, припертый к стене!» Для Достоевского жизнь — экстремальная ситуация.

И есть еще феномен, делающий книги Достоевского столь читаемыми сегодня — для тех, кто еще не научился читать. Многие научились, сидя у телевизоров. Достоевский — отгадчик будущего. Провода его отгадок становятся ясны не сразу. Проходят десятилетия, вот уже минул век — и, как на фотобумаге, под воздействием бесконечно медленного проявителя (проявителем служит время) проступают знаки и письма, понятные миру. Книги Достоевского подлинно имеют свою судьбу, которая сложна, болезненна, противоречива, конца ей не видно. Эти сети закинуты далеко вперед, в пока еще неведомое пространство. О книгах Достоевского сначала судили грубо, потом страстно, потом настали годы, когда они исчезли на родной земле, потом на них взглянули другими глазами. Человечество погрузилось в апокалипсические испытания XX века и измученным зрением все оценивало по-новому. Особенно поразительна в этом смысле судьба романа «Бесы». Современники, даже наиболее проницательные, не оценили «Бесов» по-настоящему. Левый лагерь категорически признал книгу антиреволюционной, хотя она была антипсевдореволюционной. Русский якобинец Ткачев в статье «Больные люди» яростно клокотал против Достоевского, но не смел коснуться двух главных болевых точек романа — убийства Шатова и идеи Шигалева-Верховенского, ибо то и другое Достоевский взял из реальной жизни, и назвать то и другое плодом воображения больного человека было никак уж нельзя. Не поняли истинного значения «Бесов» и представители художественной элиты и правого лагеря: первые видели в романе недостаток художественности, вторые понимали его на счет все за ту же антиреволюционность. У Шопенгауэра есть размышление о природе таланта и гения. Талант, считает философ, попадает в цели, в которые обычные люди попасть не могут, а гений попадает в цели, которых обычные люди не видят. Так вот: книга, написанная впопыхах, по жгучим следам событий, почти пародия, почти фельетон, превратилась под воздействием «проявителя» в книгу пророческую. Как это случилось?

Больше ста лет назад, в ноябре 1869 года в Москве, в Петровском парке, произошло убийство мало кому известного молодого человека, студента Иванова. Убивали впятером: двое заманили в безлюдное место, затолкали в грот, трое набросились, один держал за руки, другой душил, третий выстрелил в голову. Иванов укусил стрелявшего за палец.

Тело убитого бросили в пруд. Через четыре дня его обнаружила полиция.

Убийство студента Иванова, ничем не примечательное, гнусное — впятером на одного! — стало, однако, одним из самых заметных событий прошлого века, а тень от него перекинулась на век нынешний. И кто знает, куда потянется дальше. Для русской истории это убийство не менее значительное и роковое, чем, скажем, убийство народовольцами царя Александра II. Дело не в том, что Достоевский взял этот сюжет для романа «Бесы» и тем обессмертил убийцу и жертву, а в том, что убийство в Петровском парке обозначило новый путь в русском революционном движении, который по имени главного убийцы — Нечаева (того, кто прострелил Иванову голову) — получил название нечаевщины, переполошил Россию, жандармов, либералов, революционеров, помешался фантастической и страховидной ерундой, обреченной на гибель, но оказался живуч и спустя столетие превратился во всесветное чудовище, именуемое терроризм, с которым мир не знает, что делать.

Сергей Нечаев, сын сельского священника, учитель закона божия из провинции, желчный, болезненного вида юноша, страдавший тиком лица, приобрел с годами — так же как его ненавистливый жизнеописатель — все большую славу. Как два вечных супротивника, как Христос и антихрист, они не могли теперь существовать друг без друга и в каждом новом поколении находили себе адептов: у Достоевского их было неизмеримо больше, но адепты Нечаева ничтожною горсткой умели приводить мир в содрогание.

Так в 1871 году содрогнулась Россия, когда судили нечаевцев (сам Нечаев ускользнул от суда в Европу и был судим несколько лет спустя), и в газете «Правительственный вестник» появилось в качестве документа, приобщенного к делу, зловещее сочинение «Катехизис революционера». Долгое время авторство приписывалось Бакунину, с которым Нечаев сошелся в Европе и сумел ему понравиться, но в последнее время ученые склонны обелять знаменитого «апостола анархии» и прямо называют творцом «Катехизиса...» Нечаева. Вот некоторые цитаты из этого труда:

1. «Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией».

2. Он... разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира.

3. Революционер презирует всякое доктринерство и отказался от мирной науки, представляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку — разрушения. Для этого он изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй, медицину.

Для этого изучает денно и нощно живую науку людей, характеров, положений и всех условий настоящего общественного строя...

4. Он презирует общественное мнение. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему <...>

6. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть давлены в нем единою, холодной страстью революционного дела...»

Далее подробно: как следует организовывать тайные кружки, как вербовать членов, как конспирировать, как и под каким видом проникать во все слои общества, как добывать денежные средства и прочее. Особенно замечательна глава «Отношение революционера к обществу». Здесь объявлялось, что «все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий». Первая категория — неотлагаемо осужденные на смерть. При составлении списков должно руководствоваться отнюдь не личным злодейством человека, ни даже ненавистью, возбуждаемой им в народе, а мерою пользы, которая должна произойти от его смерти для революционного дела... Вторая категория: лица, которым даруют только временно жизнь, чтобы они рядом зверских преступков довели народ до неотвратимого бунта. К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом, ни энергией, но пользующихся по положению богатствами, связями, влиянием, силой. Надо их эксплуатировать всевозможными путями, опутать их, сбить с толку и, овладев, по возможности, их грязными тайнами, сделать их своими рабами... Далее следует четвертая, пятая и шестая категории: либералы, псевдореволюционеры и женщины, которые тоже строго распределены на разряды по удобству и способу их употребления для той же «пользы дела».

О какой же «пользе дела» заботится автор «Катехизиса...»? Какова программа, цель, будущий результат дела? Тут сюрприз: ни программы, ни цели не существует. Сказано прямо: «Мы имеем только один отрицательный, неизменный план — общего разрушения. Мы отказываемся от выработки будущих жизненных условий и... считаем бесплодной всякую исключительную теоретическую работу ума».

Если план — общее разрушение, то стоит ли останавливаться перед разрушением одного человека?

На процессе 1871 года выяснилось: студент Иванов был убит, по существу, ни за что, по пустому подозрению в предательстве, выдуманном Нечаевым. Ни один из четырех, кого Нечаев сплотил и говорил на убийство, не верил до последней минуты в то, что Нечаев приведет угрозу в исполнение. Думали, хочет лишь напугать, заставить подчиняться. Но Нечаеву нужна была кровь. В романе «Бесь» Ставрогин советует Петру Верховенскому: «Подговорите четырех членов кружка укокошить пятого под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролийтею кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут...» Но

Петр Верховенский — он же Нечаев, Достоевский в черновиках и планах так прямо и называет его Нечаевым — лучше Ставрогина знает, как поступать. Он мог бы ответить генеральскому сынку: «Не учи ученого, съешь яблочка моченого!» Разница между ними: Ставрогин все страшное вываливает безоглядно наружу, а Петр Верховенский держит страшное глубоко в тайне. Для пользы дела.

Дальнейшая судьба Нечаева: в Европе он сумел очаровать простодушного Огарева и неукротимого Бакунина, убедил их в том, что возглавляет в России громадное тайное общество и для развития дела нуждается в средствах, выманил большую сумму у Огарева, пытался соблазнить дочь Герцена, выманивая деньги и у нее, но потерпел неудачу, процесс 1871 года сильно очернил его репутацию, европейские революционеры отшатнулись, Бакунин отрекся, и в 1872 году швейцарское правительство выдало Нечаева России как уголовного преступника. Молодежь не желала иметь с ним дела. Его проклинали и забыли. Но Нечаев оказался не просто жалкий обманщик и лишенный чести преступник, а дошедший до безумия фанатик «революционного» дела: это обнаружилось через десять лет, Достоевского уже не было в живых. Нечаев сумел благодаря фантастической воле и сверхъестественной силе внушения склонить стражников Петропавловской крепости на свою сторону и едва не устроил грандиозную мистификацию с побегом. Заговор раскрылся, многие стражники и солдаты поехали в Сибирь, а Нечаев погиб в крепости — в тот же день, 21 ноября, когда убил студента Иванова, только тринадцать лет спустя, в 1882 году. В крепости Нечаев вел себя героически.

Петр Верховенский не смог бы вынести всего, что вынес в крепости Нечаев (два года его держали в цепях), но Достоевский не знал об этих подробностях, а если бы и знал, его отношение к Нечаеву-Верховенскому, к одному из главных «бесов» столетия, вряд ли поколебалось бы. Злодейская откровенность «Катехизиса...» была тем барьером, который отделял все человеческое от нечеловеческого, и этот барьер был непреодолим даже в п о н и м а н и и. Писатель, который мог оправдать и простить многократных убийц из «Мертвого дома», теперь не находил сил для оправдания. Поразил, может быть, не сам текст, сколько х а р а к т е р того, кто мог создать подобное и в него уверовать. Х а р а к т е р! Это было загадочное, не поддающееся скорому разумению, и оттого Верховенский противоречив, неровен, неясен, смутно его происхождение и не виден конец. Вначале он легковесен, комичен, в нем есть шутство, затем становится все более зловещим, inferнальным, приобретает черты демонические. Произошло это не потому лишь, что роман писался как бы в два приема — до процесса и после, когда раскрылась фигура Нечаева, — но и благодаря гениальной догадке: там должно быть то, и другое, и третье. Там должно быть много слоев. Верховенский — самый многомерный образ романа. Но главное в нем — злодейская суть.

Достоевский мог острее, чем кто-либо, почувствовать сокрушительную разницу между Нечаевым и вольнодумцами прежних лет, народниками начала 70-х: он сам прошел мученический путь заговорщика, мечтателя, принадлежал к тайному обществу Петрашевского и в 1849 году, осужденный на смертную казнь, стоял на эшафоте, но в последнюю минуту был прощен и отправлен на каторгу. Мир обогатился великой книгой «Записки из мертвого дома». Мощь этой книги отдана одному чувству — состраданию.

Но нет ничего более далекого от нечаевщины, чем сострадание.

Хотя Достоевский давно выболел свои юношеские мечты о переустройстве мира в духе Фурье и Кабе (над которыми со знанием дела уже и глумился в «Бесах», вкладывая их в болтовню Степана Верховенского и Кириллова), он, однако, не зачеркивал прошлого, находил мужество и себя считать причастным к распространению болезни, от которой лихорадило не только Россию, но и Европу. В Европе-то она, впрочем, и зародилась. Достоевский писал в статье: «Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности... я сам старый нечаевец...» Отличие Нечаева от нечаевцев — тех, кого судили на процессе 1871 года, — заключалось в том, что нечаевцам были доступны такие человеческие чувства, как, скажем, раскаяние, для Нечаева же с его ледяным математическим умом никакое раскаяние, как и сострадание, недоступны. Раскаяние — это ведь и есть сострадание: к самому себе.

Революционеры-народники отрешивались от Нечаева. Называли его мистификатором, иезуитом, макиавеллистом, с отвращением говорили: «Ему все средства хороши для достижения цели». Кстати, «Монарх» Макиавелли в русском переводе появился как раз в 1869 году и для убийц Иванова был, возможно, свежим чтением. Народники имели программу, Нечаев же — никакой, кроме разрушения. Народники не оторгли от себя христианских понятий доброты, любви, товарищества, страдания ради ближних (не только ради идеи), Нечаев же отбрасывал, как ветощь, всякую нравственность прочь.

Верховенский и Шигалев, два главных «беса» романа, рассуждают: «Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов... Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами... их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык. Копернику выкалывают глаза. Шекспир побивается камнями... мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потопим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство...» И наконец: «...снести сто миллионов голов — и создать новое общество». Свои маленькие головенки они из этих ста миллионов, разумеется, вычитают.

Основные идеи и черты нечаевщины воплотились в романе пороку с фотографической точностью. Убийство Шатова полностью, до малейших деталей — вплоть до прокушенного пальца — соответствует убийст-

ву Иванова. Рассуждения главных героев — вариации на тему «Катехизиса революционера». Связь с преступным, разбойничьим миром — связь с Федькой Каторжным. Презрение к доктринарам — презрение Петра Верховенского к отцу, бывшему вольнодумцу, превратившемуся в чучело Дон-Кихота. Наконец, шпиономания — она процветает у нечаевцев. Страх перед шпионами — инфраструктура подполья, в которой может произойти и быть оправдано любое злодеяние.

В первом номере нечаевского журнала «Народная расправа» есть такой пассаж: «Мы из народа, со шкурой, перехваченной зубами современного устройства, руководимые ненавистью ко всему ненародному, не имеющие понятия о нравственности и чести по отношению к тому миру, который ненавидим и от которого ничего не ждем, кроме зла». Один из героев «Бесов» говорит: «Вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести».

Русские террористы, члены знаменитой «Народной воли», хотя и проклинали Нечаева за антинравственность, к концу деятельности во многом — силою обстоятельств и логикой движения — приблизились к Нечаеву. И все же глубинной своей природой они отличались от Нечаева бесконечно.

Так же, впрочем, как от террористов сегодняшних.

В 1976 году в Мюнхене в разгар судорожных споров о группе Баадер-Майнхоф автору этих строк был задан вопрос: чем отличаются русские террористы прошлого века от террористов теперь? Автор ответил: тем, что не убивали невинных людей. Тут очень существенное различие. Отношение к смерти — своей и чужой — есть вопрос кардинальный и планетарный. В нем — судьба планеты. Террористы прошлого века (за исключением Нечаева, но он — предтеча) убивали только врагов, представителей самодержавной власти, а возможность гибели людей сторонних приводила их в ужас и заставляла порой откладывать покушения. Террористы теперь не останавливаются ни перед чем: взрывают самолеты, поезда, аэропорты, универмаги, народное гулянье на площади... И это нечаевщина в чистом виде. Это то самое, к чему призывал Нечаев и в чем признавался мелкий бесенок Лямшин из романа Достоевского: «...всех обескуражить и из всего сделать кашу, а расшатавшееся таким образом общество, болезненное и раскисшее, циническое и неверующее, — вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта».

Несчастный Шатов, к которому Достоевский испытывает мрачное, укоризненное сочувствие, говорит: «Знаете ли вы, как может быть силен один человек?» Роман показывает такую силу одного человека, но не Кириллова, который убивает себя, чтобы стать богом, и не Ставрогина, приводящего дикими поступками в трепет целую губернию, а Петра Верховенского, который быстро и страшно уничтожает всех. Каким способом? Силою тайного зла, которая и есть сила одного человека.

Достоевский расщепил, исследовал и создал модель зла. Эта модель действует поныне. Все части в ней типовые. Взять, к примеру, безызы-

вестного Карлоса — чем он не Верховенский? Он так же абсолютно антиправствен, патологичен, властолюбив, мал ростом, обладает легендарной сексуальной мощью, внезапно появляется, бесследно исчезает, его имя окружено тайной. По своему происхождению Карлос, правда, отличается от Нечаева. Он сын миллионера. Но это дань веку. В наше время слишком много миллионеров. **Х а р а к т е р!** Вот что царит над всем. И это часть созданной Достоевским модели. Через столетие писатель заглянул в наши будни: похолодание, снежные заносы, эпидемия гриппа, ограблен банк, взорвана школа, захвачены заложники, требуется выкуп в пять миллионов — в противном случае сто сорок человек будут взорваны вместе с самолетом. Для пользы дела. Некоторые события нынешней «террориады» почти в деталях повторяют знакомые сюжеты: например, убийство одного «из наших», кого подозревают в доносе. А может, не подозревают, а только делают вид, что подозревают. Ульрих Шмюкер, немецкий террорист из группы Баадер-Майнхоф, был убит по неясному предположению, что выдал двух товарищей: они спали в машине возле дома родственников Шмюкера и были схвачены полицией. Убийство Шмюкера поручили его другу Тильгенеру, но тот отказался. Шмюкер все равно был убит, а Тильгенер умер, затравленный угрозами.

Иванов, Шатов, Шмюкер — для пользы дела. Презрение к человеческой жизни, убить кого-либо, кто попал в пресловутые «категории», для Нечаева так же просто, как убить комара. «Человек в униформе для нас не человек», — сказала Ульрика Майнхоф в тюрьме корреспонденту «Шпигеля».

И все же: что происходит с бесами? Почему они не превращаются в свиней и не бросаются со скалы в озеро, чтобы исчезнуть, как предсказывал евангелист? И Достоевскому под конец жизни уже становилось ясно, что все тут непросто и спасительное озеро далеко: пламя бесовщины разгоралось, новые бомбы взрывались, новые ужасные имена выскакивали из российских недр, и на глазах мира разворачивалась охота на царя.

Достоевский не дожил месяца до дня, когда Гриневитцкий убил царя бомбой. Это ничего не принесло России, кроме бедствий. Принятие конституции, на что царь уже решился под напором обстоятельств, отложилось надолго.

Живучесть терроризма — плодов он не приносит, что для всех очевидно, — остается загадкой века.

Ян Шрайбер, английский философ, считает, что терроризм силен не числом и умением, а общественным мнением. Оно представляет из себя сложный комплекс ненависти, восхищения, отчаяния, надежд и страха. Это кривое зеркало, но с мощным усилителем. Вечный соблазн: все проблемы решить разом — одной бомбой, одним последним убийством. Достоевский считал — к концу 70-х, когда терроризм в России пугающе разгорался, — что общество выработало какую-то осо-

бую, вывернутую наизнанку стыдливость в отношении террора. Издатель А. С. Суворин вспоминал об одном разговоре с писателем:

«Представьте себе, Алексей Сергеевич, что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину» (то есть адскую машину, бомбу с часовым механизмом). Мы это слышим. Как бы мы с вами поступили? Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились к полиции, к городовому, чтобы он арестовал этих людей? Вы пошли бы?» Суворин ответил: нет, не пошел бы. «В том-то и дело, рассуждал Достоевский, ведь это ужас! Боязнь прослыть донощиком. Представлялось, как приду, как на меня посмотрят, станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатают: Достоевский указал на преступников. Разве это мое дело? Это дело полиции. Мне бы либералы не стили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаянья. Разве это нормально? У нас все ненормально, оттого все это происходит».

Общественное мнение, которого страшился Достоевский, питалось слухами и газетами, теперь эти возможности многократно усилились: все становится известно в тот же день и час. Мир следит по телевизору за драмой заложников, и нет более захватывающего зрелища. Террористы презрелись в киногероев. Население рассматривает громадные фотографии в журналах, ужасается, старается понять: кто эти люди? инопланетяне? чего добиваются? чего хотят от нас? И первая, облегчающая душу догадка: от нас — ничего. Хотят от других.

Терроризм выродился в мировое шоу. Бесовщина стала театром, где сцена залита кровью, а главное действующее лицо — смерть. И есть подозрение, что это именно то, к чему террористы, сами того не сознавая, стремились. Без криков, проклятий и замирающих от страха сердец играть в этом театре неинтересно. Террор и средства информации — симские близнецы нашего века. У них одна кровеносная система, они не могут существовать раздельно: одно постоянно пожирает и насыщает собой другое.

Московский корреспондент газеты «Паэзе сера» Адриано Альдоморески однажды задал автору гипотетический вопрос: что бы он в первую очередь сделал, чтобы пресечь терроризм? В первую очередь, по мнению автора, следовало бы рассечь близнецов надвое. Террор надо лишить паблсити. Без паблсити нынешние бесы хиреют, у них падает гемоглобин в крови, им неохота жить. Это подтверждается эпизодом, который произошел в Штутгарте во время суда над группой Баадер-Майнхоф. Террористы упорно отказывались признать свое участие в убийствах, но в начале мая 1976 года началась забастовка прессы в ФРГ, и это повергло четверку террористов в уныние: без паблсити им стало нечем дышать. Они начали признаваться. Ульрика Майнхоф покончила

с собой. Есть разница между ними и Нечаевым, который отчаянно боролся восемь лет в одиночной камере, во мраке и безвестности!

Бесы тоже подвержены метаморфозе, превращаясь постепенно во что-то другое: в псевдобесов или же в Бесов с большой буквы.

Достоевский отметил, как уже говорилось, почти все типовые явления, сопровождающие бесовщину: например, то, что теперь называют симпатизантством. В русской истории симпатизантами были такие писатели, как Огарев, Михайловский, Успенский, в романе «Бесы» это градоначальница Лембке, отчасти ее глупый муж и, конечно, писатель Кармазинов, в котором Достоевский злобно изобразил Тургенева, в наши дни всем известные писатели, издатели, адвокаты. Каждый симпатизирует в своем роде, своим способом, по своим мотивам. Некоторые проявляют себя демонстративно, другие тайно, третьи теоретизируют. Симпатизантство многих выражается в искренней и горячей жажде: понять. Но понять и значит простить. К этой грани Достоевский неотклонимо приближался: если во время писания романа он находил в симпатизантстве только одну черту — глупость, то затем его отношение становилось все более сложным, и есть сведения, что Достоевский ходил смотреть на казнь террориста Млодецкого, который предсмертным мужеством и всем страдальческим обликом произвел на него сильное впечатление. Он и Алешу Карамазова предполагал в будущем привести к терроризму — но не — бесовщине и к искусству, а к страданию, к страстям наподобие евангельских.

Потому что обозначился двойной лик терроризма, бесовское и святое. Трудно понять, где маска, а где лицо. Верховенский и Шатов. Бес рано или поздно должен убить святого. Сначала в себе. Почему гнев и боль Достоевского живы сегодня? Почему этого не понимал Горький, возражая против постановки «Бесов» в Художественном театре? Бесы возникают на изломе эпох. Наше время старше и мудрее Горького. Мы узнали такое, чего Горький не знал. Наше время переломное: жить дальше или погибнуть? Мир вокруг колоссально и чудовищно переменялся. Достоевский с его фантазией не мог бы предположить, каковы перемены. Нынешний Кириллов обладает абсолютной способностью взорвать вместе с собой население Земли, чтобы стать богом. В 1975 году в Америке двадцатилетний физик соорудил из спортивного интереса атомную бомбу за пять недель.

И все же характер человечества остался тот же: противоречивый, забывчивый, легкомысленный. Мировой Скотопригоньевск опомнится лишь тогда, когда вспыхнет пожар. Диктор французского радио сказал в 1978 году: «Смерть Альдо Моро заслоняет всю остальную действительность. Но все же я сообщу вам о результатах бегов...»

Бега продолжаются. Люди интересуются их результатами. Верховенский и Карлос до сих пор не пойманы и бродят в нашем маленьком мире на свободе. Поэтому будем внимательно читать Достоевского.

О ВЛАДИМИРЕ ВЫСОЦКОМ

...Думаю, можно согласиться с мнением, что творчество Владимира Высоцкого — биография нашего времени. Правда, биография — это нечто связанное, последовательное. Володя же в своих песнях, вернее — в большинстве своих песен, в разные времена охватил очень важные и, если так можно сказать, очень болезненные «пункты» нашей истории, жизни нашего народа. Ведь он отзывался — рассказывал нам — почти обо всем, чем жил наш народ. У него были стихи и песни о войне, о трудном послевоенном времени, когда он был мальчиком, он все хорошо понял и почувствовал. Есть песни о больших стройках и трудных временах тридцать седьмого года, о космосе и спортсменах, об альпинистах и пограничниках, о солдатах и поэтах — о ком угодно. Он охватил огромный спектр нашей жизни, поэтому так велика и для многих, может быть, неожиданна оказалась популярность этого человека. Он вошел в самую гущу народа как самый популярный песенник нашего времени. И неудивительно, что он был п о н я т е н многим.

Я думаю, что, во-первых, у него был большой талант певца и поэта. Если бы у него не было большого таланта, он не мог бы стать настолько популярным человеком. Но что еще очень важно — это то, что он не боялся в своих песнях — а стремился даже к этому — выражать самое насущное: то, чем народ болел, о чем думал, что было предметом разговоров простых людей между собой. Еще дело в том, что он не стремился свои песни как-то узаконить, сделать их официальными и даже напечатать. Это пришло позже и было естественным желанием. Но начинал он с того, что пел и писал для людей, просто его окружающих, для простых слушателей. Не ограниченный ничем, он писал о самых болезненных и сложных моментах нашего времени, поэтому песни его постоянно проникали в очень большую толщу народа. Для многих это было неожиданным. Его песни звучали в квартирах самых высококобых интеллигентов, его любила молодежь и любят, конечно, и школьники, и студенты. Я сам был свидетелем его успеха. Этой весной в воинском клубе он устроил большой концерт, пригласил меня. Я в первый раз видел его выступление на публике, и меня поразило, с каким восторгом и пониманием слушали его и солдаты, и офицеры в высоких чинах. Они воспринимали его как своего, потому что он был им знаком до последнего, они все имели его записи. Он, конечно, пел там и новые песни, но в принципе они его хорошо знали. Он вошел во все квартиры. Его популярность была настолько всеобщей, что его любили даже те, которые как будто и не должны были его любить, кого он высмеивал. А высмеивал он многих. Он был поэт и певец остросатиричный, высмеивал бюрократов, чиновников, подхалимов, дураков, и в особенности обывате-

лей, пожирателей благополучия. У него очень много злых и чрезвычайных острых песен об этом слое городского мешанского населения, и тем не менее все эти люди его очень любили, как будто не понимали, что он над ними издевается. Так что в какой-то степени его колоссальная популярность загадочна, объяснить ее в двух словах я не берусь.

По своим человеческим качествам и в своем творчестве он был очень русским человеком. Он выражал то, что в русском языке, я даже не подберу нужного слова, но немцы называют это «менталитет»¹. Так вот — менталитет русского народа он выражал, пожалуй, как никто. Причем он касался глубин, иногда уходящих очень далеко, даже в блатную жизнь, к криминальным слоям. И все это было спаяно вместе: и пограничники, и космонавты, и рабочие, и чиновники, и блатные — и это все была картина России.

Есть ли в его жизни и творчестве какая-то главная черта? Не знаю. Мне трудно выбрать какую-то одну черту, но мне кажется, Высоцкий выражал какую-то удаль, отчаянность, сумбур русского народа и в то же время широту души. Вот это все вместе, тут трудно подобрать одно слово, это поэтическое и в то же время насмешливое и мудрое отношение к жизни, делало его песни очень жизненными.

На его похоронах было много людей. Даже люди, которые его хорошо знали, не ожидали такого. Из этого можно сделать определенные выводы. Во-первых, с точки зрения самого искусства. Володя Высоцкий был не в очень большом официальном почете, хотя снимался в кинофильмах, выступал, был артистом Театра на Таганке, но по своему значению он должен был получить, конечно, больше площадок. Его не так уж много рекламировали в газетах, по радио и т. д., но оказалось, он не нуждался ни в каком официальном прославлении, его талант все сделал сам. Это безусловный урок, если говорить об искусстве и судьбе в искусстве. Другой печальный урок в том, как недостаточно мы ценим людей при их жизни. Все мы, кто его знал, понимали, что это большой человек, но подлинного масштаба этой личности в общем-то никто не понимал, даже самые близкие люди. Это урок очень горестный и, как все уроки, не идет впрок человечеству. Это так и будет продолжаться, к сожалению, но каждый раз, когда это происходит, становится очень горько.

...Поэтов в России всегда было много. Россия вообще страна поэтов, она любит поэзию. Но любовь такого масштаба, такого характера, как к Высоцкому, уникальна, ее можно сравнить только., допустим, с Есениным. Возможно, меня упрекут в пристрастии, в преувеличении. Такие личности, как Есенин, Маяковский, при разном к ним отношении — они колоссальны, и их смерть произвела шоковое впечатление. Смерть Вы-

¹ Менталитет — склад ума, образ мышления (*нем.*)

соцкого тоже потрясла народ. Это говорит о том, что в России действительно существует особая любовь к истинной поэзии, это присуще народу, это особенность народа. Но тут нужна точность: я говорю не о любви вообще к поэзии, а к нашим великим поэтам, истинным поэтам. Рядом с моей дача Александра Трифоновича Твардовского, он пользовался и пользуется колоссальной любовью народа. Или вот на могилы Пушкина, Пастернака, Есенина приходят люди, читают стихи, то есть вызывают такое чувство любви, которое в других странах просто неизвестно. Теперь так будет с Владимиром Высоцким.

Встреч с Володей у меня было не так уж и много, потому что мы по-настоящему познакомились только в последние годы, когда я стал автором Театра на Таганке, и там мы с ним встречались. Но, может быть, о каких-то чертах его как человека можно вспомнить. Ему было свойственно, особенно в последнее время, куда-то уезжать, куда-то нестись. Иногда это было какое-то даже не очень осмысленное передвижение. Вдруг он схватывался в какой-то день, говорил: «Я улетаю в Алма-Ату» или «Мне надо завтра лететь в Сочи». Причем часто повод был простой: кому-то надо помочь, друг ждет, для него надо что-то сделать.

Помню в июне этого года или, нет, в мае, когда была премьера «Дома на набережной» на Таганке, нет, в июне — это была последняя премьера, после этого должен был быть банкет, я на Красной Пахре встретил Володю, который со своей дачи ехал в Москву. А он всегда, когда видел меня на дороге, останавливал машину, выходил и очень торжественно целовался, у него была такая трогательная манера — никогда не мог мимо проехать. Вид у него был чрезвычайно обеспокоенный и встревоженный. Я говорю: «Володя, Вы сегодня придете на банкет?» Он не участник спектакля, но все равно мне очень хотелось, чтоб он был...

«Нет, Юрий Валентинович, простите, но я уезжаю». Куда? «На лесоповал». В Тюмень куда-то, он сказал, в Западную Сибирь. Я был, конечно, страшно удивлен: ведь сезон в театре еще не закончился, какой лесоповал? Мы простились, на другой день я сам улетел. На лесоповал он, кажется, не поехал, но я вспомнил это к тому, что в последнее время он был обуреваем какими-то порывами, — куда-то мчатся, совершать совершенно фантастические поступки.

И тоже в этом году, в самом начале года, то есть, собственно говоря, это был Новый год — этот трагический для него, — мы его встречали вместе. Запомнил эту ночь только потому, что там был Володя, и я видел, как проявилось другое Володино качество — его необыкновенная скромность. Это, может быть, пошло звучит, но может быть... Образовалась довольно большая компания, какая-то очень пестрая. Это было в одном доме, здесь, на Пахре. Пришли Володя с Мариной. Володя принес гитару. И вот вся эта публика, пестрая какая-то, я не знаю, чем она была объединена, за всю ночь даже ни разу не попросила его спеть, хотя

он пришел с гитарой. А он был очень приветлив со всеми, всем хотел сделать приятное, спрашивал о делах, предлагал помощь, потом даже повез кого-то в Москву, никто другой не вызвался. Так вот, когда мы уже уходили, это было под утро, моя жена сказала ему: «Володя, ну как же так, мы были вместе всю ночь. и вы даже не спели ничего, а мы так хотели вас послушать, даже решились Вас попросить, а Вы не стали». Он говорит: «Да ведь другие не хотели, я видел. Ну ничего, мы в следующий раз специально соберемся».

Это была ужасно нелепая ночь, и в той компании он единственный был человек со всенародной славой. Звезда, как принято говорить. А вел он себя как скромнейший, всем нужный, во всем простой, деликатный человек, и вовсе не как звезда. И это, мне кажется, было его естественным качеством, природным и потому очень редким...

1980

ВСПОМИНАЯ ТВАРДОВСКОГО

Зимою шестьдесят пятого я на Пахре не жил только недели две, в январе. Александр Трифонович жил на даче круглый год. Житье там ему, по-видимому, очень нравилось. Время было шумное, журнал Александра Трифоновича набирал высоту и силу. Верней сказать, высоту он набрал года два назад, а теперь старался держаться на уровне, что было трудно. Во всех смыслах. Авторы, которые считались истинно новомирскими и еще недавно там густо печатались, теперь не выдерживали критерия, планка поднялась высоко. Не столько в смысле о чем, сколько — к а к. Всякого рода «остроту» в журнал тащили все, но отбор прозы становился все строже. Я ничего не давал в «Новый мир», было несколько рассказов, но дать их не решался. Было известно, что в отделе прозы сидят необыкновенно требовательные редакторы и вот «пройти» через них страшно трудно. Так говорили мои знакомые, печатавшиеся в «Знамени» и в других журналах, но получившие отказы в «Новом мире». Много было обиженных, уязвленных, раздраженных против журнала и его редактора за эти отказы, говорилось о групповщине, чванстве, дурном вкусе, об отсутствии широты, но в этих разговорах звучал писк лисицы по поводу винограда: на самом-то деле все литераторы, хоть чуть себя уважавшие, стремились стать авторами журнала Твардовского. То было всеобщее писательское вождение. Не обошло оно и меня.

Но боже мой, как не хотелось получать по мордасам! Ведь мы солидные авторы, нас хвалит печать, издают в «Роман-газете». А журнал Твардовского, как говорили сведущие люди, ко всем относится одинаково: к секретарям, к маститым, к начинающим, к неведомым авторам из самотека. И больше того: неведомые авторы из самотека даже пользуются, по слухам, некоей предпочтительностью по сравнению с масти-

тыми. «Надо пройти отдел!» — говорили сведущие люди за столиками ЦДЛ. Ну, а там все зависит, конечно, от того, как посмотрит Атэ.

«Атэ» — таково было внутрижурнальное, кодовое имя Твардовского, произносимое, конечно же, за глаза, со школьным благоговением и трепетом, и люди, позволявшие себе всуе, за столиками ЦДЛ, произносить это имя, как бы причисляли себя — уже одним этим знанием кода — к сонму близких и посвященных. Увидеть Атэ, поговорить с ним было для всех, не только авторов, но и для сотрудников журнала, делом редким и непростым.

Я же встречал Атэ возле забора, разговаривал о сжигании листьев, уборке мусора. Зимой по вечерам мы сталкивались на темных, обледенелых аллеях — издалека были слышны его твердые шаги и стук палки. Той зимой он часто ходил один, быстро, не задерживаясь ни с кем из встречавшихся на дороге знакомых, напряженно о чем-то думая. Одинокая его фигура казалась мощной, большой, порывисто куда-то устремленной. Думал ли он о журнале, о своих друзьях и врагах или о том, что происходило в стране и в мире? Может быть, в эти минуты под стук палки и скрип снега возникали стихи? Но помню отчетливо: эта фигура, быстро шагавшая чуть обочь дороги, чтобы не мешать дачникам, гулявшим кучно, семейно, поражала необычайной сосредоточенностью.

Если мы и разговаривали о чем-то, то о делах поселка, о новостях, принесенных эфиром и почтальоншей, но никогда о журнале. Я старался не задавать вопросов, которые могли показаться попыткой проникнуть в редакционные тайны. Слишком много людей хотели бы проникнуть в эти тайны.

Постепенно, в разговорах, обнаружилось, что мы на многое — на дачных соседей, на события и на книги, о которых, между прочим, между разговорами о жестянщике Толе, большом плуте и обманщике, и о сбрасывании снега с крыши, если вдруг заходила речь, — смотрим с Александром Трифоновичем одинаково. Летом мы стали встречаться и разговаривать чаще. Александр Трифонович еще не чувствовал во мне полного единомышленника — хотя я был именно таковым, — привычная настороженность и какие-то старые предвзятости еще давали о себе знать, но доверие росло, правда, медленно. Был разговор о повести «Отблеск костра», Александр Трифонович впервые после долгого перерыва — лет тринадцати, что ли? — проявил интерес к моим сочинениям. Расспрашивал об отце, Миронове, Сольце. Интерес был, но сдержанный. Мне кажется, крупным недостатком повести в глазах Александра Трифоновича было то, что она напечатана в «Знамени». Все напечатанное в «Знамени», выпестованное «Знаменем», имевшее хоть какое-то отношение к «Знамени» встречалось Александром Трифоновичем предвзято и недоверчиво. Все должно было быть с изъянцем.

В повести «Отблеск костра» изъянцы, существует, существовали, но не в том смысле, какой предполагался традиционным новомирским мышлением. В «Знамени» ничего не может появиться! Если же появля-

ется, то вопреки. Между тем появлялось. И как раз вещи того смысла, о котором горячее других хлопотал «Новый мир». Сильной, смелой в духе XX партсъезда оказалась повесть Бакланова «Июль 41 года», отвергнутая «Новым миром». Александр Трифонович разнес баклановскую рукопись. Гриша был убит, понес Кожевникову, тот напечатал. Теперь Александр Трифонович, наверное, сожалел о том, что упустил баклановскую повесть. Это было время, когда журнал Твардовского с помощью новой мерки перекраивал ряды авторов. В разговорах «между Толей-жестянщиком и уборкой мусора» я слышал краткие, но довольно суровые, порой иронические, порой едкие отзывы о недавних любимцах «Нового мира». Про одного говорилось, что «темечко не выдержало», у другого «нет языка», третий «слишком умствует, философствует, а ему этого не дано». Давно не печатались в журнале Тендряков, Бондарев, Липатов, Бакланов, зато возникли новые имена: Домбровский, Семин, Искандер, Можаяев.

И вот об этих, пришедших в последние годы, говорилось с интересом, порою увлеченно. Если в журнале готовилась к опубликованию какая-нибудь яркая вещь, Александру Трифоновичу не терпелось поделиться радостью, даже с риском выдачи редакционной тайны.

— Вот прочитаете скоро повесть одного молодого писателя... — говорил он, загадочно понижая голос, будто нас в саду могли услышать недоброжелатели. — Отличная проза, ядовитая! Как будто все шуточками, с улыбайкой, а сказано много, и злого...

И в нескольких словах пересказывался смешной сюжет искандеровского «Козлотура».

Так же в саду, летом, я впервые услышал о можаяевском Кузькине. Об этой вещи Александр Трифонович говорил любовно и с тревогой: «Сатира первостатейная! Давно у нас такого не было. И не упомяну, было ли когда...»

То, что Александр Трифонович делился со мной такими редакционными сокровенностями, значило много, и я гордился этим. Иногда Александр Трифонович приходил утром, очень рано, стучал палкой в стекло веранды.

— Тургенев говорил: русский писатель любит, чтобы ему мешали работать...

Признаюсь, я действительно радовался приходу Александра Трифоновича, откладывал писанину, работа прерывалась на несколько часов, а иногда на целый день. Я приближаюсь к теме больной и необходимой. В том смысле не обходимой, что ее не обойти. Если писать правду. Он сам требовал этого от литературы, и, пища о нем, нельзя об этом не помнить. В правде не бывает купюр. Горе Александра Трифоновича, горе близких ему людей и всех, кто любил его, заключалось в вековом российском злостатии: многодневном питии. Это было то, что — вкупе с врагами Александра Трифоновича — отнимало у него силы в великой борьбе, почти в одиночку, которую он вел последние годы.

«России веселие есть пить» — в этой легендарной премудрости, столь годной для гусарских пиров и одинокого пьянства, скрыта, если вдуматься, тысячелетняя печаль. Дачники Красной Пахры тщеславились перед знакомыми: «Заходит ко мне на днях Твардовский... Вчера был Александр Трифонович, часа три сидел...» Господи, да за чем заходит? И с тобой ли, дураком, сидел три часа или же с тем, что на столе стояло? Один дачник, непьющий, признался мне, что всегда вписывает в продуктовый заказ бутылку «столичной», «Для Трифоныча».

— А ты не заказываешь? Напрасно, напрасно. Всегда должна быть бутылочка в холодильнике...

У меня такого распорядка не было и быть не могло, ибо никак я не мог для себя решить: что правильно? Раздувать пожар или пытаться гасить? Правильной, конечно, было второе, да только средств для этого правильного ни у меня, ни у кого бы то ни было не доставало. Пожар сей гасился сам собой, течением дней. Мария Илларионовна однажды сказала: «Он все равно найдет. Уж лучше пусть у вас, и мне спокойней». И верно, находил — хоть на фабрике, хоть в деревне. Были знакомцы по этой части, специалисты по «нахождению» в любой час, на рассвете, в полночь — среди них Толя-жестянщик первый. Толя — забавнейший тип, о нем когда-нибудь напишу подробнее. В нем была какая-то обманчивая доброта, привязчивость, готовность сию минуту помочь и сделать что-либо бескорыстно; кипела страсть изобретательства, он выдумывал, сочинял, бросался в разные артельные и единоличные предприятия, ничем не гнушался, торговал ворованным, мог стибрить, что плохо лежит, но вершиной всех его хитроумнейших замыслов бывало всегда одно: трояк на бутылку. Почему это я вдруг вспомнил про Толю? Он как-то прочно впаялся в мою жизнь на Пахре. Мы часто говорили о нем с Александром Трифоновичем, обсуждали его живописные качества. Угадывали его хитрости, смеялись над его словечками. «Александр Трифоныч, жализо для крыши не надоть? Могу завтра принести. Только сегодня трояк нужен — ребятам отдать...» Его так и звали: «Толя — жализо».

Александр Трифонович относился к Толе хорошо, поручал ему изредка мелкую работенку: то водосток сделать, то колпачок над трубой, — до того дня, когда Толя, на свою беду, не совершил вопиющей неосторожности. Александр Трифонович однажды заметил, как Толя, находившийся на соседнем участке и собиравшийся прийти к нему, вздумал коротить путь — и сиганул через забор. Александр Трифонович крайне возмущился. Толя был изгнан с позором.

Несколько раз Александр Трифонович рассказывал об этой истории с гневом:

— Человек, который прыгает через забор, когда есть калитка, способен на все...

Вначале такая категоричность показалась мне странной, потом я по-

нял, что резон тут есть. И Толя впоследствии, кстати, доказал, что способен если не на все, то на многое...

Александр Трифонович был ровен, пронизателен и как-то по vyšшему счету корректен со всеми одинаково: с лауреатами премий, с академиками, с жестянщиками. Те ровность и демократизм, которые были свойственны редактору «Нового мира» в его отношениях с авторами, отличали Александра Трифоновича и в обыденной жизни, и поэтому он пользовался необыкновенным уважением всех людей, которые как-либо с ним соприкасались. Ну, и я был одним из этих людей, соприкасаясь с ним посредством деревянного заборчика, возле которого мы часто стояли, держась за его сыроватые планки, разговаривали о всякой всячине.

И мне казалось невероятным, что когда-то я был автором Александра Трифоновича, а он был моим редактором, добрым редактором! Все то, что было пятнадцать лет назад, исчезло навсегда и окончательно. И я не огорчался. Ибо это, исчезнувшее, было связано со временем, справедливый удел которого был: исчезнуть. Александр Трифонович как будто и в уме не держал, не вспоминал о том, что я писатель. Пожалуй, я был для него читатель, квалифицированный, толковый, правильно мыслящий, с кем небезынтересно поговорить о литературных новинках. К его фразам, которые он произносил иногда, прощаясь, после прекрасного застолья на свежем воздухе, в саду, или на веранде с открытыми окнами, вроде такой: «Почему вы нам ничего не приносите? Приносите! Нам интересна каждая ваша страница!» — я относился с мучительным недоверием. Я подозревал в них глубоко — впрочем, и не очень глубоко — спрятанную иронию. Может быть, я ошибался, но скорей всего так и было. Уж очень непохожей на него была эта фраза: «Нам интересна каждая ваша страница!» Конечно же, он смеялся надо мной, как смеялся над другими, когда уходил, прощаясь, после прекрасных вечеров на свежем воздухе.

Повторяю: у меня были рассказы, но дать их Александру Трифоновичу я не решался. Кроме того, что пугал возможный отказ, удар по самолюбию, я еще боялся нарушить наши отношения, умеренно-дружественные. Боялся того, что он подумает, что я думаю, что, коль мы встречаемся по-соседски, это дает мне право...

Осенью 1966 года Борис Слуцкий взял моих три рассказа и отдал в «Новый мир». Спустя несколько дней мне позвонили и сказали, что рассказы понравились и будут напечатаны. Во всяком случае, два из трех: «Вера и Зойка» и «Был летний полдень».

Эти два рассказа прошли с необыкновенной быстротой все ступени редакционной лестницы и появились в декабрьском номере того же, 1966, года. Я снова стал автором «Нового мира». В марте следующего, 1967, года «Новый мир» напечатал рецензию И. Крамова на книгу «Отблеск костра», только что изданную «Советским писателем», — это был

первый и, пожалуй, единственный основательный отклик на книгу, появление которой в тогдашние времена представлялось фактом загадочным. Весною 1967 года я поехал по командировке «Нового мира» в Ростов — собирать материалы для документальной книги о двадцатом годе.

Помню, Александр Трифонович зашел в маленькую комнатку ответственного секретаря Хитрова, когда тот выписывал мне командировку, и, узнав, что я еду в Ростов, сказал одобритительно:

— Хорошо, хорошо. Надо его посылать...

В этих словах было много: «хорошо» для редакции, «хорошо» для меня.

Я написал рассказ о поездке в Болгарию — «Самый маленький город», отнес в журнал. С этим рассказом дело было так. Прочли в отделе, прочел Дорош, кто-то из членов редколлегии: одобрили, послали в набор. Александр Трифонович читал обыкновенно верстку — кроме крупных вещей, с которыми знакомился, конечно, в рукописи. Летом шестьдесят седьмого я на Пахре не жил. Приехал как-то осенью, встретился с Александром Трифоновичем, и он сказал мне, что только что прочитал «мой рассказик». Так и сказал: «ваш рассказик».

Я почувствовал холодноватость отношения к «рассказику». Да, разумеется, это было не свое; не новомирское — и по манере, по стилистике, по художественной задаче. В рассказе «Самый маленький город» не было ничего из того, что особенно ценилось журналом «Новый мир» и ставилось во главу угла: из так называемого социализма. Хотя, на мой взгляд, социальное в глубинном, высшем его понимании — изображении общества как сплетения характеров — должно существовать и существует во всякой истинной литературе, какой бы далекой от социологизации она ни казалась. Один мой приятель, литератор, в конце пятидесятых годов всегда спрашивал, когда речь заходила о каком-либо романе, о рассказе или повести: «Против чего?» Скажешь ему, что пишешь, мол, рассказ или повесть, он сразу: «Против чего?» Все лучшие новомирские произведения, напечатанные за последние годы, очень четко отвечали на этот вопрос. А рассказ о Болгарии был как будто не против чего. Несколько лет назад Б. Закс сказал по поводу туркменских рассказов с неодобрением и даже, пожалуй, презрительно: «Какие-то вечные темы!..» Те рассказы были отвергнуты, на этот же раз отдел меня одобрил, хотя и со скрипом. Донеслось ворчливое высказывание Ефима Дороша: рассказ написан в какой-то западной манере, но печатать можно: «У Трифонова есть свой читатель».

В общем, ко мне относились гораздо лучше, чем несколько лет назад, и это было основанием надеяться на то, что рассказ пройдет. Очень хотелось его напечатать, он казался мне настоящим. Я и сейчас считаю его одним из лучших, из пятерки своих рассказов. Кроме того, мне непонятно высокомерие, с каким иные литераторы говорят о западной ли-

тературе, будто эта литература — какой бы высокой и значительной она ни была — все же чем-то ниже отечественной, мол, там чтиво, а здесь пища мозгам; там стиль, а здесь коряво, но правда. Все это ползет от непереваренной почвеннической фанатерии девятнадцатого века, не принесшей русскому искусству особых достижений, зато обольстившей наших мыслителей великим множеством приятнейших, душегрейных рассуждений: от гениального Достоевского до Шевцова. Пусть простят мне почитатели великого писателя за то, что соединяю его имя в одной фразе с именем графомана, но делаю так лишь затем, чтобы показать, сколь необъятна эта система и как много в ней всякого рода, всяких масштабов орбит. Есть там и орбита Ефима Дороша, да и весь «Новый мир» — теперь пусть простят почитатели замечательного журнала — тоже крутится где-то в этой вселенной, ядром которой является нечто, называемое «почвой» или, скажем, «родной землей».

В рассказе «Самый маленький город» было, на ортодоксальный но-вомирский взгляд, три порока: он был написан о Болгарии, а не о родной земле (о Болгарии должны писать болгары, а иные попытки — от лукавого), в его стилистике замечалось влияние не русской классической прозы, скажем, Толстого или Бунина, а, скорее, Хемингуэя, и вдобавок в нем совершенно не было «против чего». Но я-то считал, что «против чего» там было. Ну, может быть, так, против горечи жизни, против несправедливости судьбы, против... да бог знает против чего еще! Против смерти, что ли. Против обыкновенного житейского ужаса нигде и н и к о г д а, с чем мы примиряемся и живем.

Но все это было чересчур общо и ненужно.

Я не удивился тому, что Александр Трифонович сразу обнаружил холодность к рассказу, хотя сказал довольно мягко:

— Я понимаю, вы хотели бы такой памятник... Но на вашем месте я бы рассказ теперь не печатал. Пусть полегит.

Никакого «памятника» я не хотел. Даже в уме не держал. Написалось, и все. Возражать я не стал и спокойно принял известие, что рассказ не пойдет. Почему-то была уверенность в том, что напечатаю в другом месте. Но Александр Трифонович неожиданно и каким-то безразличным тоном произнес:

— Если хотите, мы его напечатаем. Как хотите. Но мой вам совет — подождать.

Подумавши полминуты, я сказал:

— Александр Трифонович, я хочу его напечатать.

Это был странный разговор с редактором: хотите, не хотите. Мне было неловко, что не внял доброму совету, пошел наперекор Александру Трифоновичу, и, однако, уж очень мне хотелось этот рассказ напечатать.

Итак, рассказ был одобрен и определен в один из ближайших номеров. Между тем был у меня еще один рассказ, застрявший в отделе: «Голубиная гибель». Он, кажется, не очень понравился Дорошу, потому что был отсечен от тех двух, напечатанных в шестьдесят шестом. Я считал, что по качеству он ничуть им не уступает, да и по смыслу не худ. Словом, я набрался наглости и передал его как-то осенью, в один из приездов на дачу — прямо через забор, — в руки Александру Трифоновичу. Это было первый и единственный раз, когда я действовал помимо отдела, воспользовавшись выгодой соседства. Прошло всего дня три, и Александр Трифонович сказал, что рассказ ему понравился и он передал его в отдел.

— Он лежал у меня на столе, Мария Илларионовна прочитала, — сказал Александр Трифонович. — Хороший, говорит, рассказ, но почему конец такой грустный? Прямо, говорит, жить не хочется. Вы там что-нибудь сделайте с концом...

Потом был разговор об этом рассказе в редакции. Меня вызвали туда срочно. Звонил сам Дорош. Тут я понял, что значило для отдела, когда материал со своим «добро» передает Александр Трифонович. Все делалось с поразительной быстротой, с опаской не успеть, недоделать. Я должен был мгновенно учесть все замечания на полях, потому что рассказ добавлялся к болгарскому и шел в первый, январский номер шестьдесят восьмого года. Александр Трифонович просил зайти к нему в кабинет на второй этаж. Об этом мне так же поспешно и с некоторым волнением сообщил Дорош.

Александр Трифонович подробно прошелся по всему тексту. Замечания его были точные, четкие. Ни одно не вызвало возражений, все шло на улучшение, уточнение рассказа. Он, например, подчеркнул везде слово «карниз» и заменил его словом «отлив». Предложил убрать несколько фраз в сцене ареста Бориса Евгеньевича, от чего все стало выразительней и сильнее.

— Хорошо он у вас говорит: «Разве вы не знаете, я же вчера человека убил?»

Я признался, что эту фразу не придумал, она из жизни. Мне рассказывала вдова Виктора Кина Цецилия Исааковна Кин, что, когда Кина уводили ночью из дома в тридцать седьмом году, няня их сына воскликнула: «Виктор Павлович, да за что же?» Кин ей ответил: «Разве ты не знаешь, Федора, я же вчера человека убил».

Александр Трифонович помолчал, супясь. Все было ведомо, слышано много раз, передумано с болью, и каждый раз — боль снова. Он покачал головой.

— Эта фраза, я думаю, не пострадает, а вот во что вцепятся: полковник в отставке. Он у вас довольно зло... Вцепятся непременно.

— Убрать, вы думаете?

— Убирать пока погодим. Но вы увидите, они его не пропустят. Речь шла о члене домкома Брыкине. Я писал сей персонаж почти с натуры. Концовка рассказа тревожила Александра Трифоновича меньше, чем этот Брыкин, он лишь посоветовал снять в конце фразу о смерти Сталина, обозначавшую перелом времени. Фразу я снял.

Оба рассказа прошли без замечаний, однако «Голубиная гибель» только в «Новом мире» прошла в первоначальной редакции. В двух сборниках моих рассказов, вышедших в «Советской России» и в Гослитиздате, рассказ опубликован в изувеченном виде. Теперь это просто сентиментальный рассказ.

«Новый мир» в это время подвергался все более ожесточенным нападкам, номера с трудом продирались и выходили с опозданием иногда на два, на три месяца. Все, что печаталось в журнале Твардовского, часть критики рассматривала в лупу. За всем виделись злоумышления, второй план. Именно теперь модным, у всех на устах, сделался литературоведческий термин «аллюзия», известный прежде лишь профессорам. («Аллюзия» от латинского «allusio» — шутка, намек.)

Январский номер с двумя рассказами вышел лишь в марте. Весной я написал рассказ «В грибную осень», отдал «Новому миру». Рассказ вышел в августовском номере. Этот номер был сдан в набор тридцатого мая, а подписан к печати девятнадцатого октября. Подписчики получили его в ноябре.

Вот так обстояло теперь дело с «Новым миром». Шли разговоры о том, что Твардовского снимают. Этим слухам верили и не верили. Да, номера выходили с трудом, каждый рождался в муках, приходилось пробивать, отстаивать, спорить с чиновниками, и все же номера выходили, дело двигалось. Тут была какая-то странность. В печати, на собраниях журнал честили почему зря, обвиняли чуть ли не в антисоветчине, — особенно кидались на «Новый мир» те, кому досталось от отдела критики, армия этих оскорбленных с каждым годом росла и злобнела, — но почему-то оргвыводы не делались; уже зрела такая безумная догадка: «Новый мир» н и к о г д а не будет разогнан, ибо он н у ж е н.

Зимой мы виделись редко, а в начале лета следующего, шестьдесят девятого года, когда я переехал на Пахру прочно, решив там жить все лето и работать — я писал тогда повесть «Обмен», — мы виделись с Александром Трифоновичем чуть ли не каждый день.

Стоял свежий, теплый июнь.

Каждое утро мы ходили с Александром Трифоновичем купаться на речку. Мне было неловко заходить за ним — боялся быть навязчивым, — а он по дороге от своей дачи на речку заворачивал на мой участок, благо калитка не закрывалась ни днем, ни ночью, подходил к открытому окну на кухне или к веранде и говорил громко: «К барьеру!» Бывало это рано, часов в восемь. Я тут же выходил с полотенцем, и мы шли по шос-

се, еще не успевшему нагреться, тихому и пустынному, солнце пекло нас в спины. На дачах никто не шевелился. Проезжала молочница на велосипеде, здоровалась с Александром Трифоновичем. Он кланялся ей степенно. В этой деревне, называемой Красной Пахрой, где жили писатели и бог еще знает кто, он был, конечно, самый знаменитый и уважаемый человек. Мы сворачивали налево, проходили через калитку на территорию моссоветовских дач, потом шли парком, спускались мимо заброшенного каменного здания клуба крутой тропинкой к рощице ивняка, и вот уже был берег нашей речонки Десны, повсюду узкой и жалкой, а здесь довольно широкой из-за плотины. Берег в этот час был безлюден. Может быть, два или три рыбака крылись где-то в укромных убежищах, в густой осоке или под счастливым деревом. Ни лодок, ни детского крика. Мы переходили по мостику на остров и там в гущине, в тени, возле коряжистой, изломанной старой ивы располагались на нашем месте.

Александр Трифонович не любил цивилизованного пляжа, вообще пляжа. Население поселка ходило обыкновенно к излучине реки, где было подобие такого пляжа, песок, мягкое дно, даже вышка для прыжков в воду, там днем и вечером гомонили купальщики, дети, молодежь, играли в волейбол, читали книжки, загорали, текла летняя жизнь. Александр Трифонович не ходил туда никогда. Он любил островок, где ивы, уединение, вязкое дно, всегда немного тенисто и грязно, но лишь на первый взгляд грязно, на самом-то деле грязь на пляже, а здесь самая чистая вода на всей реке. Потому что ключи, местами даже стынью обдает, плывешь, плывешь, и — холодом по ногам.

Сход в реку был удобен: подходили к глинистому обрывчику, хватались за склоненный низко над водой — будто по заказу — не толстый, но и не тоненький, пружинистый ствол ивы и, сделав два шага, оказывались на глубине. Александр Трифонович был крепок, здоров, его большое тело, большие руки поражали могучностью. Вот человек, задуманный на столетие! Он был очень светлокожий. Загорелыми, как у крестьянина, были только лицо, шея, кисти рук. Двигался не спеша, но как-то легко, сноровисто, с силой хватался за ствол, с силой отталкивался и долго, медленно плавал.

В июне шестьдесят девятого года, теплыми утрами на реке, от которой парило, я видел зрелого и мощного человека, один вид которого внушал: он победит! Настроение у Александра Трифоновича в те дни было и вправду боевое. Номера выходили хорошие. Только что опубликовали новую повесть Быкова «Круглянский мост», на выходе был Белов; какие-то уморительные «байки» или «бухтины», о которых Александр Трифонович говорил с удовольствием. Интеллигенция все еще жужжала восторженно о двух повестях Катаева (редактор восторга не разделял, но было приятно, что вокруг журнала шум), а тут снобам но-

вая сласть: повесть «Кубик». Оглянувшись с озорным видом, будто кто мог подслушать, шептал: «А я вам говорю...» Я спорил. Катаев мне нравился. Первую повесть я считал блестящей и даже написал какую-то статью в ответ Дудинцеву, но «Литературка» не напечатала. Впрочем, дудинцевской грубостью Александр Трифонович был возмущен. Мы с ним говорили. Но то было давно, а теперь его уже раздражало ликованье снобов. Напечатаньем катаевских вещей он все же гордился, так как считал их, конечно же, литературой, в отличие от многого, что печаталось, и литературой, и м е в ш е й п р а в о н а с у щ е с т в о в а н и е, но ему не близкой и даже в некотором смысле чуждой, однако же вот печатал, и не одну вещь, а три. Была известная гордость собой, своей широтой, великодушием. Отношение Александра Трифоновича к Катаеву меня не удивляло. Это был твердый, закаленный годами труда и размышлений вкус: видеть в литературе не стиль, а суть. Стиль часто мешал сути. Писатели из окружения Александра Трифоновича исповедовали ту же эстетику, одни, подлаживаясь к нему, другие — совершенно искренне, как, например, Казакевич и Дорош. В письме о моей первой книжке рассказов Казакевич ругал как раз те рассказы (туркменского цикла), которые мне казались лучшими в сборнике, заметив при этом: «Для меня нет ничего ненавистнее с т и л я».

Александр Трифонович начисто отвергал Набокова. Однажды был разговор о прекрасной книге воспоминаний Набокова «Другие берега». Я читал ее с упоением. Александр Трифонович сказал, что она фальшива, искусственна, ничтожна, глупа и что у него терпения не хватило дочитать до конца. О «Лолите» говорил как о пакости. Нет, не читал ее, ибо пакость противно брать в руки. Из западных писателей он, по-моему, более других ценил Томаса Манна.

В июне по дороге на речку и с речки мы разговаривали о разных вещах. Не помню уж сейчас, о чем и как. К сожалению, ничего не записывал, и это было величайшей глупостью. Рассуждения Александра Трифоновича всегда отличались своеобразием, глубиной, острыми и неожиданными мыслями. Тут мой грех: непривычка вести дневник, записные книжки. Помню, много говорили о статье А. Дементьева в последнем, недавно появившемся апрельском номере «Нового мира» и в связи с нею — о журнале «Молодая гвардия» и группе критиков, возмнивших себя новыми славянофилами. Об этой публике Александр Трифонович говорил презрительно. Помню, он признался, что не читал Розанова, никогда не было желания искать и читать этого писателя, а теперь захотелось познакомиться. Слишком много разговоров о нем. У меня была одна книга Розанова — «О легенде «Великий инквизитор». Александр Трифонович попросил ее и, вернув очень скоро, дня через два, сказал, что разочарован, все где-то читано, знакомо.

Не знаю, может быть, я много на себя беру и это дерзость с моей стороны — рассказывать о литературных вкусах и пристрастиях Александра Трифоновича. Он сам об этом писал, и люди, более близкие к нему, работавшие с ним в журнале, напишут авторитетней и подробней. Со мной-то Александр Трифонович говорил мимоходом, а с ними — с тем же Дементьевым, жившим у нас на Пахре, — разговаривал куда чаще и больше, обстоятельней, откровенней. Но не знаю, когда и что напишут другие, поэтому позволю себе записывать все мелочи, все мимолетное, оставшееся в памяти — может, это и покажется кому-то «превышением прав».

Июнь шестьдесят девятого — это была, кажется, лучшая пора в последнем году Александра Трифоновича-редактора. Физически он был крепок, духом бодр, как видно, ему хорошо работалось. И все же давление страшного атмосферного столба, которое то увеличивалось до чугунной тяжести, то чуть отпускало и даже якобы исчезало — обманчиво — вовсе, чувствовалось над головой журнала постоянно.

И если это чувствовали все мы, авторы близкие и далекие, и чувствовали читатели на необъятной России, то каково же было ему!

Помню, был разговор, от которого жалось сердце. Очень хорошо помню: на моем участке, в саду, спустились со ступенек крыльца и шли к калитке. Он вдруг остановился и сказал тихо, с какой-то невыразимой, правдивой болью:

— А знаете, Юрий Валентинович, иногда проснешься утром и думаешь: а не бросить ли все это? Не послать ли куда? Ведь сил не хватает на борьбу... Ведь, ей-богу же, и сам я кое-что еще могу написать, руки есть, голова есть... А вот силы кончаются... А потом подумаешь, сколько же людей ждут этот журнал, как праздник, как надежду какую-то! В захолустных городках где-то, в деревнях подписываются, ждут, я же знаю... Обмануть их? Уйти в благополучную жизнь? Нельзя, невозможно. И говоришь себе, как протопоп Аввакум своей Марковне: «Марковна, до самой смерти!» Она его спрашивала: «Долго ли муки сея, протопоп, будет?»

Окончилось это спокойное время начального лета поездкою Александра Трифоновича в гости к Соколову-Микитову. Александр Трифонович любил старого писателя, они были земляками, дружили. Я не знал, что он уехал. Сказала мне Мария Илларионовна, и как-то с опаской: «Боюсь, как бы он не сорвался...» Да, видно, уж точно знала, определенно чувствовала: сорвется. Так и вышло. Случайно я был на шоссе, когда Александр Трифонович возвращался. Машина остановилась, дверца отхлопнулась, и Александр Трифонович крикнул что-то, зовя меня. Я подошел. По веселому, очень красному лицу, громкому голосу, желанию вылезти зачем-то из машины, что сделать было трудно, все стало ясно.

Мне почему-то кажется, что с этой поездки к Соколову-Микитову началась вся цепь дальнейших несчастий.

Впрочем, все шло к тому, к несчастьям, неотклонимо, и поездка ничего изменить или прибавить не могла. У Александра Трифоновича начался длительный период болезни, который окончился бедой: Александр Трифонович упал с лестницы в своем доме — лестница вела на второй этаж, — сильно разбил голову, повредил шею и был увезен в Кунцевскую больницу. Случилось это, кажется, в августе. Между тем недели две или три, от поездки к Соколову-Микитову до падения с лестницы, Александр Трифонович находился в том состоянии, когда были невозможны ни работа, ни купания в реке, ни чтение. И, наверное, не было худа без добра: он не мог по-настоящему вникать в ту отвратительную кампанию клеветы и травли, которая развернулась тогда, летом, на страницах некоторых газет и журналов. «Социалистическая индустрия», «Огонек» и какая-то еще газетка, не помню сейчас какая, печатали гнусные статейки теперь уже не против «Нового мира», а против его редактора лично. Такого рассчитанного и циничного хамства в нашей печати давно не бывало: со времен, может, быть, пресловутой «борьбы с космополитизмом».

Неизвестно, откуда дул ветер и кто был заперщиком кампании. Возможно, инициатива шла снизу, из тех газет и журнальчиков, где сидели люди, особенно люто ненавидевшие «Новый мир». Это догадки. Кто-то знает доподлинно, я не знаю.

Так или иначе, шла артподготовка к главному сражению: снятию Твардовского с поста редактора. А сделать это было, как видно, непросто. Уж очень велики в народе, в интеллигенции, в армии, во всей стране популярность и авторитет создателя «Василия Теркина».

Мы читали пасквильные сочинения, возмущались, надо было противодействовать. Решили написать письмо. В какое-то августовское воскресенье на даче у Бакланова такое письмо написали. Не помню сейчас, в какой именно адрес: то ли в секретариат Союза писателей, то ли куда-то выше. Письмо было очень короткое, резкое. Возмущены кампанией клеветы, которой подвергается любимый поэт советского народа и главный редактор лучшего в стране журнала, и требуем ее немедленного пресечения. Что-то в этом духе.

Тут же вечером побежали по поселку за подписями. Тендряков подписал, разумеется, сразу, Бондарев отредактировал текст, затем, получив его подпись, пошли к Нагибину, который в своем музейном, в золоте и бронзе кабинете поставил подпись легко. Утром в понедельник поехали с Баклановым в город, зашли к старому приятелю по Литинституту, и он, к изумлению моему, не то что помявшись или поколебавшись, а очень решительно отказал:

— Нет, ребята, я этого подписывать не стану!

Тут мне открылось многое. Мне представлялось раньше, что громадное большинство писателей стоят на стороне Твардовского и только очень немногие являются врагами Александра Трифоновича и его журнала. Однако дальнейшее показало, что между друзьями и врагами Александра Трифоновича колыхнется необмерное море не тех и не других, но все же склоняющихся ближе к недоброжелателям, а еще точнее — к ущемленным, обиженным за что-то, когда-то.

Я, вообще говоря, убежден в том, что «Новый мир» страдал от того, что взорвался пороховой погреб писательских самолюбий. Слишком многих писателей этот журнал задел, слишком важные персоны раздел, обнаружив голых королей.

Письмо в защиту Александра Трифоновича подписали еще несколько человек: Антонов, Рыбаков, Каверин, Алигер, еще кто-то. Я ездил в Переделкино. Александр Трифонович об этой деятельности, разумеется, ничего не знал. Сейчас уж не помню, повлияло ли наше письмо или действия Симонова и Суркова, но газетная травля прекратилась.

Александр Трифонович долго находился в больнице. Слухи о ходе его болезни и лечения доходили неясные. Все были удручены неизвестностью, переспрашивали друг у друга, передавали сведения от Марии Илларионовны и удивлялись тому, что все так затянулось и так неясно. Те, кто навещал его в больнице, говорили, что он сильно изменился, постарел, голова его как-то согнулась. Раньше Александр Трифонович очень прямо и гордо держал голову, это было характерно для его фигуры, а теперь, как рассказывали те, кто видел его в Кунцеве, он неузнаваемо сгорбился. От падения повредились шейные позвонки. Все эти рассказы вызывали тревогу.

Летом я закончил повесть «Обмен», отнес ее в «Новый мир». Прочитали Дорош, другие члены редколлегии, все были «за». Повесть пошла в набор и была намечена на декабрьский номер. Александр Трифонович вернулся из больницы где-то в сентябре, скорей всего — в начале сентября. Встретив его случайно в один из приездов на дачу, я с болью почувствовал, как правы были больничные посетители: он постарел резко, это бросалось в глаза. Двигался медленно, голову держал слегка опущенной, как бы постоянно понунив, отчего весь облик принял неприветливое, чуждое выражение. Какая-то стариковская согбенность — вот что выражал его облик, и это было так дико, так несуразно и несогласно со всей сутью этого человека!

Надеялись на то, что болезнь пройдет, все восстановится. И наверняка бы восстановилось, если бы другая жизнь... Да где было ее взять, другую?

На ноябрьские дни я приехал на дачу. Помню, восьмого ноября Александр Трифонович зашел ко мне, как он выражался, «на огонек». Он был в осеннем просторном бушлате, с палкой, совершенно трезвый

и спокойный. Принес книгу, которую брал читать, не помню уж какую. Кажется, какой-то номер «Красной летописи». Сели за столом внизу, Александр Трифонович достал пачку сигарет: курил он, несмотря на болезнь, по-прежнему много и все один сорт, крепчайшую без фильтра «Приму».

Александр Трифонович сказал, что ему прислали верстку декабрьского номера, он прочитал повесть «Обмен», сделал некоторые замечания на полях, и хорошо бы я зашел к нему сегодня или лучше завтра, и он эти замечания покажет. Разговор был обыкновенный, деловой. Отношения к повести Александр Трифонович не высказал, но было очевидно, что он не против опубликования, а, стало быть, повесть им одобряла. Я, конечно, был безмерно счастлив, хотя обстоятельства, окружавшие Александра Трифоновича и журнал, были невеселые. И радоваться теперь было как-то неприлично. Твардовский заговорил о «Красной летописи», где была занятная статья — ради нее и брался журнал — Книжника-Ветрова о семнадцатом годе в Питере. Оценки и суждения Александра Трифоновича были как всегда остры, метафоричны.

На другой день, созвонившись с Александром Трифоновичем, я зашел к нему на дачу, и мы посидели полчаса в его маленькой рабочей комнатке на нижнем этаже, где был стол, заваленный письмами и бумагами, загроможденный книгами, книжные полки и больше ничего. Настоящий кабинет с библиотекой был на втором этаже, но Александр Трифонович любил работать здесь, внизу, видя перед собой дорожку в саду и в глубине, за деревьями, калитку. Теперь я услышал одобрителльные слова о моей повести, несколько замечаний по языку, с которыми согласился, и одно конструктивное предложение:

— Зачем вам этот кусок про поселок красных партизан? Какая-то новая тема, она отяжеляет, запутывает. Без нее — сильный, сатирический рассказ на бытовом материале, а с этим куском — претензия на что-то большое... Вот вы подумайте, не лучше ли убрать.

Я был совершенно убежден в том, что убирать нельзя. Может быть, Александр Трифонович не слишком внимательно читал — было не до того, а может, ввиду сгушавшейся опасности проявлял некоторую осторожность, нежелание рисковать зря. Повесть мою он, наверное, не считал кардинальной вещью журнала, а рисковать и подставляться под копья следовало только ради чего-то кровного и дорогого. Могли быть нападки, очень нежелательные в то время. Но когда я сказал, что поселок красных партизан для меня важен и убирать его не стоит, ибо исчезнет второй план, Александр Трифонович легко согласился: «Пожалуйста, оставляйте...» В этом легком согласии я почувствовал не только великодушные редактора, но и некое грустное безразличие...

И это было то, что омрачало радость.

«Обмен» появился без единой поправки. Повесть вышла в предпоследнем номере, подписанном Твардовским, а последним оказался первый январский семидесятого года с повестью «Белый пароход» Айтматова.

* * *

Он умер в декабре семьдесят первого. И о похоронах писать нет сил. Напишут другие...

О ТВОРЧЕСТВЕ В. СЕМИНА

Виталий Семин избрал для описания какие-то маленькие города, слободки, или рабочие районы и людей, живущих там. То есть людей деревенских, полугородских, полуинтеллигентных, которых много в нашей стране и которые составляют большой массив. Да, действительно, у нас появился средний слой — много деревенских, полугородских, полуинтеллигентных, людей, живущих скудно. А в книгах мы должны говорить правду потому, что действительно многие из этих людей живут скудно и об этих людях у нас еще мало пишут. Семин пишет о них, причем делает это на большом отрезке времени, описывая довоенное время, период войны и послевоенное время.

Прозу Семина отличает очень большая достоверность. Он пишет очень правдиво. «Нагрудный знак ОСТ» — роман без вранья. Иногда он бывает даже скучноват. Иногда даже хочется, чтобы автор немножко соврал, но он не врёт. И в этом его качество, его большое достоинство...

Дело в том, что никогда не надо никого ни с кем сравнивать. У нас в критических обоях есть какие-то кучки — небольшие кучки, маленькие кучки. Мне кажется, что это не нужно. Литература — дело штучное. Виталий Семин писатель вот такой штучный, и я его сразу могу узнать и отличить, пишет ли он о каких-то мальчиках или пишет о страшных событиях войны.

Писатель Виталий Семин очень человечен. В нем есть внутреннее благородство. Мы часто говорим, что писатель должен быть человеческим. Этический заряд писателя должен чувствоваться. Если этот заряд дурной, некачественный или посредственный, он может написать фразу прекрасно, может быть прекрасным стилистом и прочее, но некачественность его внутреннего заряда все равно даст себя знать. Мне кажется, Семину повезло — у него хороший внутренний человеческий заряд, совестливость, и это чувствуется в его произведениях. Это не просто картины, в них — высокая нравственная оценка, которая очень точна. Это благородные внутренние побуждения. Хотя бы то, как он пи-

шет о себе, а это требует большого искусства. Очень многие себя украшают, хотят себя выставить получше, даже невольно, не специально рука сама тянется, чтобы о себе сказать покрасивее. Семин довольно беспощадно пишет о себе. В «Нагрудном знаке OST» он говорит, что проявил слабость, уступил. Хотя мы видим, что он смелый, благородный человек. Его размышления, борение совести в нем, как он о себе думает,— это очень показательно и придает его книгам большую внутреннюю красоту.

У Семина, конечно, замечательная память. Тут нет никаких записных книжек — это память. В «Нагрудном знаке OST» такое количество мельчайших фактов, подробностей; он описывает интерьер камер, цехов, дворов, улиц, домов. Он запоминает выражения лиц, разговоры. Персонажей в романе много. Для каждого он находит свое, и это особое свойство писателя.

В предисловии или где-то еще он говорит о том, что он долго собирався и не мог к этой книге подойти. Она его мучила, потому что в ней самое страшное, что может быть для человеческой личности, — картина унижения. Это роман об унижении почти ребенка, поэтому еще более страшно. То, что человека переворачивает, чего нельзя выговорить. Я знаю много людей, которые прошли различные лагеря, и они не хотят об этом вспоминать, они хотят выбросить из памяти прошлое потому, что это было страшное унижение человека, его достоинства.

Я понимаю, что с тех пор минуло много лет, автор за это время набрался мастерства. Его книга «Ласточка-звездочка» — хорошая достоверная книга. Но по качеству прозы «Нагрудный знак OST» — выше. И Семину надо было преодолеть все — нападения критики и других чиновников. Он вынес их потому, что в течение всего того пути, который он прошел, он усиленно работал.

В книгах Семина о довоенном времени много интересного, что сохранилось в его художественной памяти, памяти о времени. Роман «Нагрудный знак OST» интересен еще и тем, что там есть подлинная достоверность и правдивость при описании разных пластов. Например, описание немцев периода войны: это такая тема, где многие даже хорошие писатели спотыкались. В первых послевоенных романах были малодостоверные, какие-то ходульные фигуры, позднее уже пошли другие описания.

У Семина в его «Нагрудном знаке OST» — это особые немцы, которые с л у ж а т в арбайт-лагерях. Эти немцы очень страшны своей бесчеловечностью, хотя, казалось бы, они обыкновенные люди. Но здесь показано, как фашизм в л е з а е т в человека и делает страшных людей. Семин изображает эти превращения очень достоверно. В описании надзирателей, простых рабочих, штурмовиков раскрывается вся суть этих людей, все их существо.

Мне кажется, Семину удалось показать Германию тех лет так, как многим другим писателям этого не удалось сделать. Он показал. Страшные картины, как немец избивает мальчика, как ребенку, которому 3—4 года, никто не дает куска хлеба.

Книгу «Нагрудный знак OST» сейчас должны переводить в Западной Германии. Для немцев это будет неаппетитно. Но они это прочитают и поймут, потому что это правда. Это настолько достоверно и правдиво написано, что с этим трудно спорить. Семин не показывает зверей. В том-то и дело. Это — люди, но в то же время они способны на все. Быт немецкого городка написан очень подробно и хорошо.

Виталий Семин — честный писатель. Хочется вспомнить четверостишие грузинского поэта Г. Табидзе:

Если мужества в книгах не будет,
Если искренность слез не зажжет,
Всех нас вместе потомство забудет
И мацонщиков нам предпочтет.

Так вот, чтобы не превратиться в мацонщиков, нам нужно говорить людям серьезные вещи. Это очень трудно, но, может быть, самое важное — высказывать необходимые серьезные мысли, что в литературе необходимо, иначе литература будет делом развлекательным.

...В книгах Семина есть мужество, серьезность, искренность.

1977

БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО

Рассказать о Бульварном Кольце? Это значит — рассказать о своей жизни, которая обвязана, обвезана этим Кольцом вся. Никуда из него не вырвешься. Ты начал с него, увидел мир на его бульварах и постоянно к нему возвращаешься. Нет другой улицы на земле, которая была бы столь извечно твоя. Странная власть Кольца! Ты находишься в какой-то мистической зависимости от него: вот ты уехал от него на Калужскую, потом еще дальше на Сокол, а потом еще бог знает куда, но Кольцо не отпускает тебя. И весь город тоже принадлежит Кольцу, и как бы он ни раскидывался, ни улетал в заоблачные дали, Кольцо схватило его круглой могучей лапой — такой маленькой в необозримости города! — и держит намертво.

Бульварное Кольцо — обруч, скрепляющий эту огромную бочку, гребень в пучке исполинских волос, нескончаемо текущих, без него распадается клепка, рассыплются волосы. Без него нечем дышать, ибо Коль-

цо — легкие. Усталые от вековой работы, в них слышатся хрипы, они нуждаются в лечении, в особом питании, тысячи автомобилей убивают их газовой атакой, и все же — они работают, сопротивляются, поглощают, снабжают. И город дышит Кольцом. Не весь, разумеется, он слишком велик, — его сердцевина, то, что называлось когда-то Белым городом.

Впрочем, почему же — Кольцо? Ведь цепь бульваров, окружающая старую Москву с севера, имеет форму не кольца, а п о л у к о л ь ц а. Западными и восточными звеньями она упирается в реку, а за рекой продолжения у нее нет. Но все говорят: «Кольцо», — и привыкли. Когда-то я прочитал роман А. Дюма «Три мушкетера» и удивился — почему три, когда четыре? Но потом привык, как все в мире привыкли. Хотя на самом деле четыре, все говорят: три. Хотя на самом деле полукольцо, все говорят: Кольцо. Я знаю москвичей, которые прожили здесь целую жизнь и не догадываются — им и в голову не приходит, что правильно говорить — Бульварное Полукольцо.

Как у всех старых городов, у Москвы в пору ее рождения был один могущественный импульс — страх. Крепости, башни, валы, рвы. Оградить, спастись, защититься от зверя, от врага, от напастей. Да этот импульс, кажется, и теперь едва ли не могущественнейший в нашем цивилизованном мире! Так вот, если взглянуть на старые города — и на Москву — сверху, можно увидеть рисунок страха. Это скелет того малого, что через несколько веков превратилось в гиганта. Сначала — жиденький часток кол маленькой крепости на берегу речушки, князь был ничтожен и беден, кого бояться в лесу? Потом — деревянные стены, деревянные башни, получившие название «Кремль». Князь превращался в царя, становился богаче, страх возрастал. А затем, когда государство стало сильным и знаменитым, деревянные стены неминуемо должны были превратиться в нечто грозное, прочное, каменное, выражавшее одновременно величайшее опасение и величайшую мощь. Царь Василий I решил оградить от набегов литовцев город земляным валом со рвом — и это как раз то полукружье, где располагается Бульварное Кольцо. Ров впервые упоминается в летописи в 1389 году. И уже тогда были на валу ворота: Чертольские (впоследствии их стали называть Пречистенскими, а в советское время Кропоткинскими), Арбатские, Никитские, Тверские, Дмитриевские, Петровские и Сретенские. Давно уже ворот не существует, но москвичи до сих пор называют небольшие площади между бульварами «воротами». «Никитские ворота», «Сретенские ворота», «Петровские ворота» — и это такой же миф, как три мушкетера и как Кольцо...

В западной части Земляной вал начинался от реки Москвы, от нынешних Кропоткинских ворот (в этом месте в Москву впадал ручей Черторый, его воды заполняли ров, впоследствии ручей был засыпан и стал

Кольцом), а восточная часть рва доходила до речки Яузы, притока Москвы, эта часть была сооружена позднее. В XVIII веке указом Петра I улицы Москвы мостились булыжником. В 1775 году по плану переустройства Москвы на месте Земляного вала и рва хотели устроить по западному образцу бульвары, но московская знать, богатые купцы воспротивились и захватили большую часть освободившегося пространства под свои дворы. Бульвары удалось создать только в начале XIX века. Так что Кольцу ни много ни мало лет сто шестьдесят.

С чего же начать? Где найти точку отсчета в полукольце Кольца? Да, наверное, там, где я впервые его увидел, на Тверском бульваре. Я ведь сказал, что с Кольцом связана жизнь. Это не пустые слова. Вблизи Суворовского бульвара — раньше он был Никитским — до сего дня существует родильный дом, где началась вся эта долгая суета. Затем в течение пяти лет я жил в большом доме посередине Тверского, на третьем этаже, окнами на бульвар — там было много снега, собак, повязанных платками бабок, стариков с мешками, милиционеров, китайцев, продающих розовые бумажные игрушки, в стороне чернел, как башня, громадный человек по имени Тимирязев, а в другой стороне, очень далеко, стоял такой же черный Пушкин, к нему можно подойти, еще лучше подбегать на санках и увидеть, что он — грустный. Нянька Таня, собираясь со мной гулять, спрашивает у мамы: «Куда итти: к этому Пушкину или к этому Пушкину?» Между бульваром и домом грохочет трамвай. Дребезжащие трамвай — первое, что долетает до меня из сырого, снежного мира. Я боюсь трамвая. Все говорят, что он страшный. Иногда меня ставят на подоконник, я смотрю вниз и вижу: трамвай несется, как сумасшедший, под его крышей сверкают ослепительные ужасные искры...

Все тут с чем-то и как-то связано. Ну вот, например, трамвай — ведь это тот самый, который отрезал голову Булгаковскому Берлиозу. Здесь, рядом с памятником Тимирязеву, Аннушка пролила на рельсы роковое масло, на котором бедный Берлиоз поскользнулся. Трамвай давно нет на Кольце. Головы отрезаются другим способом. Теперь здесь ходит троллейбус.

А грустный, поникший в задумчивости Пушкин? В 1880 году, на открытии памятника, Достоевский произнес знаменитую речь: «Смирись, гордый человек!» Это был отчаянный призыв к русскому народу, к молодежи, сила и страсть которого должны были заставить молодых людей опомниться и выбросить навсегда револьверы и бомбы. Но молодые люди не опомнились. Через год бомбою народовольцев был убит Александр II. Памятник Пушкину, как и булгаковский трамвай, ныне не существует на прежнем месте — его передвинули в сквер на Пушкинскую площадь.

Старых москвичей эта передвижка не обрадовала. Вроде бы какая разница: справа или слева от дороги стоит чугунный памятник с чугунными фонарями в цепях? И там вокруг памятника стояли скамейки, на которых солнечными днями тесно, плечом к плечу, как на с и д я ч е м параде, дремали пенсионеры, а вечерами маялись в томительном ожидании влюбленные, и здесь, на новом месте, то же самое, круг скамеек, дети, пенсионеры, влюбленные, но что-то нарушилось. Да, да, непоправимо нарушилось. Настолько непоправимо и беспощадно, что нам обидно до слез. Нам — старым москвичам. Которые помнят прежнее место. Которые сидели на прежних скамейках. Которые слышали от родителей забавный стишок дореволюционных лет: «Жду тебя мой друг Карлуша, на Твербуле у Пампуша!» То есть — на Тверском бульваре у памятника Пушкину.

Нам кажется: Тверской бульвар без памятника Пушкину стал голым и безголовым, но москвичи, родившиеся в сороковые годы и позже, этого не считают. Им, толстокожим, представляется, что не может быть для памятника ничего лучше, чем безобразная, открытая со всех сторон взору площадка на Пушкинском сквере. Здесь и скамеек больше и стоят они уединеннее, а на старом месте был какой-то тесненький пятячок — так думают глупые молодые современники. И мы никогда не поймем друг друга.

О да, перемены! Сносятся кое-какие дома, заменяются решетки, давно убиты вертящиеся турникеты, которые были обязаны напоминать рассеянному москвичам о существовании грозных трамваев, но какая-то вечная суть, атмосфера, характер старого города — остались на бульварах Кольца неизменно. Это то, что сохранилось от глубинного духа Москвы.

Тверской бульвар и во времена Пушкина был местом прогулок, тут была знаменитая «Арабская» кондитерская, приезжали искать знакомств одинокие дамы, московские старухи «салоппницы» сползали сюда за новостями, тут встречались накоротке, за столиками летней чайной, мелкие газетчики, безработные актеры, проигравшиеся за ночь карточные игроки, тут происходили жестокие сражения красногвардейцев с юнкерами в семнадцатом году, убитые лежали на газоне под липами, раненые на скамейках, артиллерия красногвардейцев с Пушкинской площади обстреливала дом князя Гагарина на другом конце бульвара, напротив площади, где стоит сейчас памятник Тимирязеву, и сожгла этот дом, в плен попали триста юнкеров, бой за центр Москвы был тут выигран, а в сорок первом памятник Тимирязеву был разбит взрывом бомбы, распался на куски, но его собрали и поставили на прежнее место, во время войны посреди бульвара лежал серебристый аэроплан, а потом тут устраивались книжные базары, вновь гуляли одинокие дамы, школьники ели мороженое, появились собачки на поводках, и опять, как сто лет на-

зад, кучками стали собираться мелкие литераторы, непризнанные драматурги без гроша в кармане, игроки в шахматы, в шашки и, конечно, в вечного русского «козла», то есть в домино.

Место тут — Тверской бульвар — удобное, центровое, во все концы близко — театры вокруг, редакции газет и журналов рядом, а издательство «Советский писатель» в двух минутах ходьбы, поэтому в теплые дни здесь назначают randevu, сводят счета, встречаются, чтобы попросить в долг, иногда возвращают долги, обмениваются гениальными мыслями, советуются, как быть, все те, кому, чтобы заработать, надо бегать, шнырять, искать, про кого русская поговорка говорит: «волка ноги кормят», — внештатные газетчики, эстрадники, куплетисты, авторы пьес и киносценариев, которых режиссеры не хотят ставить. Они говорят о своих делах. У них много замыслов и прекрасных новых идей. Из этих разговоров, из бульварного «трепа» — в любую погоду на скамейке Тверского бульвара дежурил какой-нибудь энтузиаст из незадачливых авторов — возникла организация: Профессиональный союз драматургов. Туда входят те, кто пишет по мелочам и изредка кое-где печатается, но до Союза писателей еще не дотянулся. Большинство смирились со своей судьбой и не дотянутся никогда. Среди них есть милые люди. Некоторые даже со способностями. Но чего-то им не хватило. Они состарились на Тверском бульваре. Впрочем, члены Профкома драматургов не унывают: у них есть свое помещение, они проводят там собрания, смотрят фильмы, платят членские взносы и распределяют путевки в дома отдыха.

На Тверской бульвар они приходят по привычке.

Другие хозяева бульвара — шахматисты. В теплые вечера каждая скамейка облеплена зрителями, как сладкий кусок пирога бывает облеплен мухами, — молчаливые наблюдатели. Игроков двое, они сидят на скамейке друг против друга, невидимые в толпе. Протиснуться ближе и посмотреть на доску бывает трудно. Забавно ходить теплыми вечерами по бульвару: с обеих сторон расположились молчаливые кучки мужчин, стариков, мальчишек. Свежий человек, не знающий дела, увидев эти кучки, ничего не поймет и подумает, что люди то ли молятся, то ли исполняют тайный обряд. А иностранец, придя в гостиницу, запишет: «Станный обычай русских: стоять тесным кружком, влечом к плечу, опустив головы, и разговаривать так тихо, что проходящий в трех шагах человек ничего не услышит. Вероятно, члены каких-то подпольных организаций. Каждый кружок стоит отдельно, по-видимому, по фракциям. Милиционероv не видно. Все это свидетельствует о том, что ситуация в России меняется».

А мы попробуем все-таки пробраться через толпу к скамейке и посмотреть, какова ситуация на доске. Противники: толстый, лысоватый человек в куртке домашнего типа, подозрительно напоминающий теп-

лую больничную пижаму, и мальчик лет двенадцати, тонкая шейка, белобрысый затылок. Человек в пижаме мрачно насуплен, мальчик тихонько посвистывает. Голоса из толпы: «Сдавайся, батя!», «Черным капут!», «А почему вы так думаете?» Человек в пижаме раздраженно вскидывается: «Граждане, вы прекратите этот митинг?» Мальчик посвистывает. Он житель соседнего дома, там он — какой-нибудь Васька, Толька, им помыкают, на него покрикивают, он выносит помойные ведра, бегает за кефиром, а здесь, на бульваре, он маленький царь, его называют Василием, Анатолием, его знакомством дорожат, с ним стремятся сразиться. Но, проигравши, так хочется дать шелчка по этой белобрысой макушке!

Еще достопримечательность Тверского бульвара — между площадью и театром, бывшим известным Камерным режиссера Таирова, а ныне посредственным, имени кого-то, забыл кого, расположен в глубине сада за старинной оградой барский дом, построенный лет двести назад. В начале прошлого века дом принадлежал сенатору Яковлеву, в 1812 году в этом доме родился писатель Александр Герцен. Многие десятилетия после революции дом этот назывался «Дом Герцена». Тут находились в двадцатые годы литературные организации, ресторан «Стоило Пегаса», где кутили Есенин и Маяковский, в этом доме и в окружающих его флигелях жили в те годы писатели Мандельштам, Алексей Толстой, Платонов и другие, ставшие впоследствии знаменитыми. Булгаков увечковечил «Дом Герцена» в романе «Мастер и Маргарита» — здесь, в помещении литературного союза «МАССОЛИТ», происходит пожар по воле волшебника Воланда. И именно здесь в 1934 году был открыт Литературный институт, где я учился пять лет; с сорок четвертого по сорок девятый.

Как видите: никуда не вырваться из Кольца!

Литературный институт был основан Горьким и носит имя Горького. Это уникальное учебное заведение, другого такого нет, пожалуй, нигде в мире — институт, который готовит писателей. Сразу напрашивается: Лев Толстой не учился в Литинституте! И Маяковский тоже! И вообще, никто из великих не учился специально «на писателя». Сам Горький доказал своим опытом, что лучший университет для писателя — жизнь среди простых людей. И, однако, как это ни удивительно, как ни противоречит логике, Литературный институт оказался полезен. Из его стен вышли многие современные советские писатели — Евтушенко, Ахмадулина, Казаков, Айтматов, Симонов, Тендряков. Но дело не в этом. Они все равно стали бы писателями. Дело вот в чем: институт помогает тем, кому можно помочь. А те, кому помочь нельзя, становятся редакторами, переводчиками, сотрудниками газет и даже, на худой конец, литературными функционерами. Иные же, разочаровавшись в себе и в целом мире, уходят из литературы навсегда и остаются читателями. Уче-

ние в Литинституте — дело рискованное. Можно повредить себе на всю жизнь. Тут происходит жестокое соревнование, и жюри беспощадно — писательский стипль-чез со всеми его барьерами и ловушками начинается гораздо раньше, чем мог бы начинаться. То есть вся писательская система взаимоотношений создается в кругу несуществующих писателей. Я посещал семинары прозы Паустовского и Федина. Обычные университетские дисциплины: история, языкознание, философия, иностранные языки не интересовали меня вовсе, зато многочасовая болтовня, крики, споры на семинарах — о, это были звездные часы моей жизни!

После шума и криков выходили на бульвар в сырую дождливую весеннюю или морозную свежесть и брели, измученные, к «Бару номер четыре», где пили пиво и ели раков, а если не было пятерки на кружку пива — брели просто так, мечтая, рассуждая о книгах и девушках и мучаясь от собственной немоты. Все начинающие мучаются от немоты. Старый дом, где помещался наш излюбленный «Бар номер четыре» — украшение Кольца! — несколько лет назад снесен. На его месте разбили сквер и поставили громадные часы с таким чудовищно сложным циферблатом, что время по ним узнать нельзя.

Пойдем дальше на восток — Пушкинская площадь замыкается громадным кинотеатром «Россия», а за ним, в узеньком Путниковском переулке, в тени, в неприметности прячется редакция самого шумного за последние полвека российского журнала — «Нового мира». Теперь-то от него шума нет, теперь ему самое место тут — в щели. А вот лет десять, пятнадцать назад, когда редактором был могучий Твардовский, отсюда гремели на всю страну громы и молнии! Неловко повторяться, но автор опять тут как тут: окончил институт, получил диплом и мог бы отъехать куда-нибудь подальше от любимого Кольца, не обязательно в другой город, но хотя бы в другой район Москвы. Но нет, автор движется по той же параллели — свой первый роман несет в «Новый мир», и Твардовский его печатает.

Так автор, не отрываясь от Кольца, становится писателем. Разумеется, не становится, это происходит позднее. Но тогда, в баснословном пятидесятим, автору так казалось.

На Пушкинской площади помещается и редакция второй по значению советской газеты — «Известия». В витринах здания «Известий», построенного в стиле конструктивизма в конце двадцатых годов, выставлены фотографии: мощные гидростанции, литейные цеха, нефтяники в касках, прокладка рельсов в тайге и тому подобные увлекательные сюжеты, каждую неделю другие. Возле фотографий неизменно стоят два, три человека и задумчиво их рассматривают. Это люди, которые есть во

всех городах мира — они слоняются без особой цели, чего-то ищут, кого-то ждут, размышляют, мечтают. Больше всего любят читать объявления: тайный зов перемены судьбы. Доска объявлений помещается как раз рядом с витриной фотографий. Ну, что же там можно прочесть? Продаются торшеры, меняют квартиры, шьют молодежные брюки, дают уроки английского, французского, испанского, набирают слушателей в кружок «гармонического развития личности». В скобках — ритмика, пластика, беседы об искусстве. Пахнуло двадцатыми, а то и десятилетиями. В Москве есть все, что хотите, надо лишь внимательно читать. Ищу партнершу для тенниса, лет 20-25. Преподаяю йогу. Занятия по парапсихологии. Общество любителей ирландских терьеров сообщает, что очередное собрание...

Когда надоест читать объявления и рассматривать нефтяников в казках, можно перейти сквер и на другой стороне Пушкинской площади зайти в крохотное кафе «Лакомка». Толстяки жуют пирожные, меланхолически глядя в окно. Школьницы щебечут о своих взрослых делах. Недалеко от «Лакомки», если подниматься по Пушкинской вверх, находится ценнейшее и редкое для Москвы учреждение — о его местонахождении мечтают узнать провинциалы — старинная общественная уборная, хорошо сохранившаяся.

Бегущие в «Новый мир» или убегающие оттуда переволновавшиеся авторы непременно забегают в этот уютный, отделанный кафелем подвальчик. Мы говорим, разумеется, о начинающих. Опытные мастера слова используют туалет редакции.

Но дальше, дальше на восток! Мы задержались на Пушкинской... И правильно сделали, потому что другого такого подвальчика нет на всем Кольце.

Страстной бульвар, самый короткий в цепи бульваров. Всегда останавливает взгляд красота дома на углу Петровки. Дом князей Гагариных, теперь клиника Мединститута. Архитектор: знаменитый Казаков, XVIII век. Здесь проходил описанный Толстым в «Войне и мире» обед в честь князя Багратиона и прозвучала наглая фраза Долохова: «Надо лелеять мужей хороших женщин». После чего — дуэль Пьера...

В этом же доме останавливался служивший в наполеоновской армии Стендаль. Именно здесь великий писатель ничего не понял о России.

За домом клиники — старейший московский городской сад «Эрмитаж». Когда-то модное увеселительное заведение, где любили бывать Чехов, Куприн, пировали купцы, пели цыгане, выступали гастролеры из Парижа, Вены, ныне — жалкий маленький садик, пыльный и скучный летом, закрытый зимой. Старомодный ресторанчик, где наспеш обедают командировочные, деревянный мир — отрада детей и отпускных солдат. Москва гуляет в других местах — в огромных парках, в Лужниках, во

дворцах и спортзалах, где мощные динамики окатывают многотысячных зрителей громоподобным весельем. Но это — далеко от Кольца...

Кольцо — одно из самых тихих мест Москвы.

Старина еще не выветрилась из этих особнячков, доходных домов прошлого века, помещичьих городских усадеб с палисадником и флигелями, а кое-где из ржаво-белого кирпича монастырских стен...

Справа, если подниматься по Рождественскому бульвару, краснеет ржавым, древним кирпичом стена бывшего Рождественского женского монастыря, построенного в конце XIV века, а чуть выше, но слева от бульвара, у Сретенских ворот — запомните, никаких ворот нет — сохранился Сретенский мужской монастырь.

Возле Сретенских ворот есть старый Печатников переулочек, названный так потому, что тут когда-то была Печатная слобода — жили типографы царского Печатного двора. С этим переулочком у автора тоже связано множество воспоминаний, ибо тут жил его друг, в квартире которого происходили студенческие сборища, здесь автор впервые мертвецки напился, впервые целовался с девушкой так, что у него распухли губы, здесь обсуждались головокружительные новости пятидесятых годов. Отсюда автор и два его друга в марте 1953 года вышли на Рождественский бульвар и смотрели, как вниз, к Трубной площади, движется гигантская медленная толпа людей, желающих посмотреть на почившего фараона: Сталин лежал в Доме союзов. Автор с ужасом наблюдал эту плотно спаянную, не имевшую ни конца, ни начала толпу, сползавшую вниз, как ледник. Были слышны крики задавленных, истерические вопли «Спасите!». В тот день на Кольце погибли сотни людей.

Ах, можно долго рассказывать о Кольце!

Я его так люблю. И прекрасно, что оно еще существует.

1980

ПАМЯТИ ЛЬВА ГИНЗБУРГА

Эта потеря разрывает сердце всем, кто его знал, кто дружил с ним, кто читал его книги, кто прикасался к его неповторимому человеческому обаянию. Какая злодейская несправедливость и какая беспощадность судьбы! Он так любил жизнь — да кто же ее не любит, спросите вы? — но он любил страстно, азартно, увлекаясь людьми, работой, идеями, не замечая возраста и недугов, безоглядно тратил то драгоценнейшее и дающееся человеку однажды, что Толстой называл БЛАГОМ ЖИЗНИ. Смерть настигла его в тот миг волнения, когда писатель, закончив труд, ждет его выхода в свет. Все мы знаем, какое это из-

нурительное испытание. Он написал книгу прозы, своеобразный роман о жизни, о собственной жизни, обо всем или во всяком случае о многом, что наполняло ее, и это, вероятно, самая значительная из его книг, написанная на вершине возможностей, на взлете таланта. Редакции нетерпеливы. Это их право. Они не берут в расчет злодейство судьбы. У него было любимое, полужутливое присловье: «Надо еще дожить!» Бывало, спросишь: «Поедем во вторник в книжную лавку?» — «Возможно. Надо еще дожить». Никто не принимал этот черный юмор всерьез. Ведь Лев Гинзбург жил в атмосфере юмора, самоиронии, пронизательных насмешек и милых колкостей, которыми он окружал и пленял друзей. И, кстати, в том, как он умел подшутить над собой, выражалась талантливость. Он был артистичен в своих блестящих переводах, так же как и в том, как он необыкновенно рассказывал, как убийственно острил, как метко изображал людей, разыгрывал целые сцены, копируя знакомых, заставляя слушателей хохотать до слез. И все это оборвалось внезапно. Оборвались планы жизни, щедрые творческие замыслы, и когда выйдет роман, некому будет позвонить утром: «Старик, я прочитал. Это здорово!» И услышать в ответ молчание счастливого человека. Он не дожил до шестидесяти. Не очень длинная, но и немалая жизнь. На его долю выпало много счастья, войны, невзгод, глубокого раздумья о жизни, о мире, он написал много прекрасных стихов, великолепных статей, его имя известно и почитаемо не только у нас, но и в других странах, где переводились «Бездна» и «Потусторонние встречи», но мне хочется в горький час сказать вот о чем: этот маленький, сутубо штатский, порою суетливый, порою неловкий до комичного человек обладал истинным мужеством. Это было мужество высокой пробы: мужество каждого дня, терпеливое, упорное. На это мужество не раз натыкались подлецы, полагавшие, что человек такого забавного, веселого нрава не может быть им опасен. Его мужеством была его антифашистская деятельность, разоблачение преступников, проникновение в их логово, встречи один на один с такими волками, как Кристман. Но его мужеством было и другое — делать добро, многим помогать, вставать на защиту. Льва Гинзбурга будет не хватать всем, читателям и писателям. И в первую очередь нам, кто его знал и любил. Прощай, друг!

КОММЕНТАРИИ

О СОВРЕМЕННОМ ГЕРОЕ.— Ответ писателя в феврале 1977 г. на анкету журнала «Театр» (архив Ю. В. Трифонова).

«ДОБРО, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, ТАЛАНТ». — Ответ на вопрос «Литературной газеты» «Что такое всесторонне развитая личность?» (1977, 5 окт.). О своем друге Льве Федотове писатель рассказал в очерке «Исто-

рия болезни», он послужил прототипом Антона Овчинникова в повести «Дом на набережной» и Лени Крастыня в романе «Исчезновение» («Дружба народов», 1987, № 1). Об удивительной судьбе Льва Федотова был снят фильм «Соло трубы» (см. статью О. Кучкиной «Ребята из дома на набережной» в «Комс. правде», 1987, 17 янв.).

«НАРОДНОСТЬ И ПАРТИЙНОСТЬ» МОИХ КНИГ.— Ответ на вопросы корреспондента итальянского телевидения Деметрио Вольичч (архив Ю. В. Трифонова).

ЯДРО ПРАВДЫ.— Написано предположительно в феврале 1977 г. как ответ на открытие письма известного писателя Мартина Вальзера (ФРГ) «А как живется Вам, Юрий Трифонов?» (журнал «Konkret», 1977 № 12). Печатается по рукописи, хранящейся в архиве писателя.

«Критики говорят, что в повестях я объячаю мещанство».— В архиве Ю. В. Трифонова находится рукопись его выступления на одной из секций VI съезда Союза советских писателей: «Вот еще одно лукавое словцо: мещанство. Говорят, мои повести не только «бытовые», но и «мещанские». Тут непонятно, все в кучу: мещанские, антимещанские. Как в анекдоте: или он украл, или у него украли... Словом, что-то вокруг мещанства... Мещанство, как и быт, признается предметом, пригодным для литературы, но как бы второго сорта. Вроде шить из этого сукна можно, но что-нибудь простенькое, небогатое. И место для мещанства определено заранее: оно гнездится в городе, в хороших квартирах, и, конечно, среди интеллигенции. Но разве эгоизм, своекорыстие, стремление к наживе не присущи, например, деревенским жителям? Однако деревенских жителей не называют мещанами. Если отвратительные качества встречаются среди деревенских жителей, то причины их одни видят в кулацких пережитках, а другие — в дурном влиянии города, то есть того же мещанства. Мы пишем о сложной жизни, где все переплетено, о людях, про которых не скажешь хороши они или плохи, здоровы или больны, они — живые, в них то и это. Как нет абсолютно здоровых людей — это знает каждый врач, так нет и абсолютно хороших — это должен знать каждый писатель... Мы пишем не о дурных людях, а о дурных качествах. Потому что это должно быть про всех, а не только про злокозненных мещан: это должно быть про читателей, про близких автора, про него самого. Не надо, увидев ярлычок, с облегчением отмахиваться: «А, опять про каких-то мещан! Разоблачают...» Нет, читатель, не про каких-то, а про нас с вами. Никто не намерен разоблачать, но хотят, чтобы вы заглянули в себя и хоть что-то неприятное — хоть какую-то ничтожную долю неприятного заметили в себе и постарались бы потом, втихомолку, никому ничего не говоря, от нее избавиться. И никто бы не узнал даже, что это каким-то образом вас касалось, читатель. Вот в чем состоит тщеславная мечта автора... Мы делаем одно общее дело. Советская литература — это громадная стройка, в ко-

торой участвуют разные и непохожие друг на друга писатели. Из наших усилий создается целое...» (архив Ю. В. Трифонова).

ТРИЗНА ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ВЕКОВ.— Написано в 1980 году в связи с 600-летием Куликовской битвы. Опубликовано: «Литературная газета», 1980, 3 сентября, под заглавием «Славим через шесть веков». Печатается по рукописи с сохранением авторского заголовка.

НЕЧАЕВ, ВЕРХОВЕНСКИЙ И ДРУГИЕ...— Написано в 1980 году к 100-летию со дня смерти Ф. М. Достоевского. Печатается по рукописи с сохранением авторского заглавия.

О ВЛАДИМИРЕ ВЫСОЦКОМ.— Опубликовано в «Учительской газете» (1987, 7 апреля).

ВСПОМИНАЯ ТВАРДОВСКОГО.— Написано в 1972 г. и опубликовано в «Огоньке» (1986, № 44).

1. «Был разговор о повести «Отблеск костра»... Расспрашивал об отце, Миронове, Сольце...» — **ТРИФОНОВ** Валентин Андреевич (1888—1938) — партийный военный деятель, член партии с 1904. С марта 1917 секретарь фракции большевиков Петроградского Совета, активный участник Октябрьского вооруженного восстания, член Главного штаба Красной Гвардии, член первой коллегии ВЧК. С января 1918 член Всероссийской коллегии по организации и управлению РККА, чрезвычайный представитель Наркомвоена на Юге по формированию частей Красной Армии на Украине и в Донбассе. В июне 1918 — июне 1919 как член Наркомвоена он участвовал в создании красноармейских частей на Урале для борьбы с белочехами, начальник военной флотилии на Каме, член РВС 3-й армии. В июне — июле 1919 комиссар Особого экспедиционного корпуса (на Дону), в июле — сентябре член РВС Особой группы В. И. Шорина, в октябре 1919 — январе 1920 член РВС Юго-Восточного, в январе 1920 — мае 1921 — Кавказского фронтов. Делегат IX и X съездов партии. В июне 1921 — декабре 1923 председатель Всероссийского Нефтеиндиката, член Совета Промышленного банка республики (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., тт. 52, 53, 54). В феврале 1924 — феврале 1926 назначен первым председателем Военной коллегии Верховного Суда СССР, с октября 1924 член Президиума Госплана СССР. Затем помощник (комиссар) военного атташе (А. И. Егоров) в Китае. 1926—1927 гг. — торговый представитель СССР в Финляндии. 1928—1929 гг. — организатор и член Президиума Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина. В конце 1929 заместитель председателя, а с 1932 по июнь 1937 В. А. Трифонов — председатель Главного Концессионного комитета при Совнаркоме СССР, был членом коллегии Госплана СССР.

МИРОНОВ Филипп Кузьмич (1872—1921) — советский военачальник, член партии с 1920. С января 1918 командовал отрядами красных казаков на Дону, одним из первых награжден орденом Красного Знаме-

ни (1918). В августе 1919 вопреки запрету командования выступил с недорформированными частями казачьего корпуса из Саранска против конницы Мамонтова, прорвавшей фронт в районе Новохоперска. Был объявлен Троцким «вне закона», арестован и приговорен к расстрелу, но был помилован ВЦИК, а затем реабилитирован Политбюро ЦК партии с правом вступления в ее ряды (одним из поручителей за Миронова был Ф. Э. Дзержинский). После работы в Донисполкоме (заведовал сложнейшим отделом — земельным) с сентября 1920 командовал 2-й Конной Армией. За успешные бои против войск Врангеля в Крыму награжден Почетным революционным оружием и вторым орденом Красного Знамени (1920). Назначен инспектором кавалерии РККА. В феврале 1921 по ложному доносу арестован и расстрелян. В ноябре и декабре 1960 года решениями Верховного Суда СССР и ЦК КПСС Ф. К. Миронов был полностью реабилитирован (см.: «Командарм Миронов» — в кн.: Гольцов В. П. Памяти серебряные нити. М., 1986; роман А. Д. Знаменского «Красные дни». Краснодар, 1987).

СОЛЬЦ Арон Александрович (1872—1945) — советский партийный деятель, член партии с 1898. Вел работу в Вильнюсе, Екатеринославе, Тюмени, Баку, Петербурге, Москве, был членом местных комитетов РСДРП. С 1916 — член Московского бюро ЦК РСДРП. После Февральской революции — член редколлегии газет «Социал-демократ» и «Правда». В 1920—1934 работал в ЦКК и ее Президиуме. С 1921 член Верховного Суда РСФСР, а затем СССР, работал в Прокуратуре СССР. Делегат VII, IX—XII съездов партии. Был членом Президиума Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., тт. 39, 44, 45, 52—54). В «Отблеске костра» Ю. В. Трифонов писал об А. А. Сольце, старом товарище отца: «Это был замечательный человек нашей революции.... Старые большевики называли А. Сольца «совестью партии». Он послужил прототипом Давида Шварца в романе Ю. В. Трифонова «Исчезновение» (Дружба народов, 1987, № 1).

2. «Помню, много говорили о статье Дементьева...» — А. Г. Дементьев, известный критик и литературовед, автор многих книг по советской литературе. Речь идет о его статье «О традициях и народности» (1969, № 4). На «Новый мир» и на А. Т. Твардовского обрушился поток клеветнических статей, начавшийся с публикации писем 11 писателей в «Огоньке» (1969, № 30) под тенденциозным заглавием «Против чего выступает «Новый мир»?». Решением бюро секретариата правления Союза писателей СССР от обязанностей членов редколлегии журнала в 1969 г. были освобождены его ведущие работники А. И. Кондратович, И. И. Виноградов (ныне член редколлегии «Нового мира»), И. А. Сац, В. Я. Лакшин (ныне заместитель главного редактора «Знамени»). В феврале 1970 г. А. Т. Твардовский был освобожден от обя-

занностей главного редактора журнала и 18 декабря 1971 года он скончался.

О ТВОРЧЕСТВЕ В. СЕМИНА. — Публикуемый впервые текст — выступление Ю. В. Трифонова в марте 1977 года на заседании совета по российской прозе Союза писателей РСФСР. Речь идет о Виталии Николаевиче Семине (Ростов-на-Дону), авторе произведений: «Сто двадцать километров до железной дороги», «Семеро в одном доме», «Женя и Валентина», «Нагрудный знак OST», «Плотина» и других. Печатается по рукописи, хранящейся в архиве Ю. В. Трифонова.

1. «Семин пишет о них...» — В рабочем дневнике Ю. В. Трифонова начала 70-х годов есть такая запись: «Критики много пишут о теме труда в литературе. Это стало дежурным блюдом любой литературной дискуссии. Между тем я сомневаюсь в том, что тема труда может когда-либо стать главной в литературе. Главным был, есть и будет — человек! Стало быть, путаница понятий? Нет, просто желание говорить высокопарным штампом. «Этот роман посвящен теме труда советских людей...» Бедный роман, значит в нем нет ни живых лиц, ни человеческих конфликтов, ничего, кроме этой гипнотизирующей критиков «темы!» (архив Ю. В. Трифонова).

2. «Семин довольно беспощадно пишет о себе». — Вероятно, готовясь к выступлению на совместном советско-финском семинаре писателей (Одесса, октябрь 1970 г.), Ю. В. Трифонов помечает в своем рабочем дневнике: «...Писатель должен черпать из своего опыта жизни, из судьбы. И мне кажется, чем больше и беспощадней он будет к себе, чем более откровенно и, так сказать, обнаженно он будет рассказывать о себе, чем больше он будет искренен, тем большее художественное значение будет иметь его произведение. Великий пример для этого — Лев Толстой, который был очень беспощаден к самому себе. Хуже нет, когда писатель старается приукрасить себя, погарцевать на своей собственной биографии. Это приводит к плачевным результатам. И для творчества необходимо черпать как можно больше из своей жизни, из своей судьбы, из своей биографии» (архив Ю. В. Трифонова).

3. «У Семина, конечно, замечательная память». — В беседе с корреспондентом Винченцо Вазиле (газета «Унита», 1978, 16 сент.) Ю. В. Трифонов говорил: «Сегодня сознание писателя — это его историческая память. Моя задача, которую я ощущаю своей, состоит в том, чтобы не забывать даже самые суровые, трудные страницы и моменты нашей истории. Моменты, которые находят отражение в нас самих. Именно эту мысль я отразил в «Доме на набережной», «Отблеске костра», «Старике». История входит в кровь и плоть человека. А история сложна. Надеждам отцов не всегда соответствуют свершения детей. Быть может потому, что мир — это не платье, сшитое по мерке. Инструмент, орудие, которыми каждый из нас обладает для того, чтобы понять мир, — это наше соз-

вание. В этом-то и состоит основная роль писателя: будоражить сознание индивида, его внутреннюю жизнь...» (архив Ю. В. Трифонова).

4. «Виталий Семин — честный писатель». — Как бы предвосхищая свой будущий ответ западногерманскому писателю Мартину Вальзеру (см.: Лит. Россия, 1987, 24 апр.), Ю. В. Трифонов в беседе с корреспондентом газеты «Унита» (1977, 21 сент.) Дино БернардINI говорил: «...Сейчас у нас много писателей, которые пишут правдиво, искренне, которые описывают повседневную жизнь такой, какова она в действительности, без громких фраз. Первыми, кто за последние годы пошли по этому пути, были, по моему мнению, те, кого мы называем «писателями деревни», так как их тематика, да и сама их жизнь связаны с деревней, с крестьянами в колхозах и совхозах. Но потом их примеру последовали также «городские» писатели. В произведениях этих писателей читателю приходится искать для себя ответы, и ему никогда не предлагается нечто вроде того, что два плюс два — это четыре. Если называть несколько имен, назову Белова, Битова, Искандера, Окуджаву, Семина, Шукшина... Все они, по моему мнению, по сути своей оптимисты, в том смысле, что они пишут правду, являющуюся предпосылкой лучшей жизни» (архив Ю. В. Трифонова).

БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО. — Написано в 1980 г. Печатается по рукописи, хранящейся в архиве Ю. В. Трифонова.

ПАМЯТИ ЛЬВА ГИНЗБУРГА. — Опубликовано в «Литературной газете» (1980, 1 окт.). Л. Гинзбург — советский поэт-переводчик, публицист, критик. В «Дудке крысолова», «Цене пепла», «Бездне», «Потусторонних встречах» он раскрывает сущность фашизма как античеловеческой идеологии.

Комментарии О. Трифоновой-Мирошниченко, А. Шитова.

СОДЕРЖАНИЕ

О современном герое	3
«Добро, человечность, талант»	3
«Народность и партийность» моих книг	5
Ядро правды	7
Тризна через шесть веков	15
Нечаев, Верховенский и другие	18
О Владимире Высоцком	28
Вспоминая Твардовского	31
О творчестве В. Семина	46
Бульварное кольцо	48
Памяти Льва Гинзбурга	56
Комментарии	57

Юрий Валентинович ТРИФОНОВ

ЯДРО ПРАВДЫ

Статьи, интервью, эссе

Редактор В. П. Енишерлов

Технический редактор Т. Е. Авдеева

Сдано в набор 29.06.87. Подписано к печати 01.09.87. Формат 70 × 108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,28. Усл. кр.-отт. 2,98. Тираж 80000 экз. Изд. № 2391. Заказ № 951.
Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● Сберегательные кассы помогают трудящимся более правильно строить личный бюджет, целесообразнее использовать получаемые доходы.

● Вклады можно пополнять как наличными деньгами, так и путем перечисления сумм из получаемых доходов.

● Для пополнения вкладов безналичным путем необходимо подать в бухгалтерию предприятия, организации, колхоза заявление о перечислении сумм из денежных доходов на счет по вкладу. В сберегательную кассу можно перечислять суммы из заработной платы, единовременное вознаграждение за выслугу лет, денежные заработки колхозников, пенсии, средства, причитающиеся населению за проданную государству сельскохозяйственную продукцию, страховые суммы, выручку за предметы и вещи, реализованные через комиссионные магазины и т. д.

● Безналичная форма пополнения вкладов экономит Ваше личное время.

Правление Гострудсберкасс СССР